

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



СЛОВО
И
ДЕЛО



Слово и дело

Валентин Пикуль

**Слово и дело. Книга вторая. Мои
любезные конфиденты. Том 3**

«ВЕЧЕ»

1975

Пикуль В. С.

Слово и дело. Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Том 3 /
В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1975 — (Слово и дело)

ISBN 978-5-4444-8935-2

Роман В.С. Пикуля «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица престрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся к эпохе дворцовых переворотов XVIII века, прежде всего к периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы патриотически настроенных русских людей против засилья иноземцев во главе с могущественным фаворитом царицы герцогом Бироном, против разграбления богатств России. Книга «Мои любезные конфиденты» разделена издательством на две части. Первая часть рассказывает о событиях политической истории России, начиная с переговоров русского посольства во главе с князем С. Голицыным с правителем Персии Надир-шахом до неудачного турецкого похода фельдмаршала Б.Х. Миниха.

ISBN 978-5-4444-8935-2

© Пикуль В. С., 1975

© ВЕЧЕ, 1975

Содержание

Летопись первая. На рубежах	6
Глава первая	7
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава четвертая	22
Глава пятая	27
Глава шестая	31
Глава седьмая	36
Глава восьмая	40
Глава девятая	46
Глава десятая	51
Глава одиннадцатая	56
Глава двенадцатая	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Валентин Пикуль
Слово и дело. Книга вторая. Мои
любезные конфидененты. Том 3

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Летопись первая. На рубежах

Счастлива жизнь моих врагов...
Михайло Ломоносов

*Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был,
И презирал он Человека,
Но Человечество любил!*

Петр Вяземский

Глава первая

Увы, коллегиального правления на Руси давно нет! Новое лихое бедствие надвинулось на страну – бумагописание и бумагочитание. На иноземный манер звалось это чудо-юдо мудреным словом-сороконожкой – *бюрократиус*.

Чиновники писали, читали, снова писали и к написанному руку рабски и нижайше прикладывали. Немцы не даром обжирали Россию – они приучали русских до самозабвения почитать грязное клеймо канцелярской печати. Словам россиянина отныне никто не верил – требовали с него бумагу. Остерману такое положение даже нравилось: «А зачем мне человек, ежели есть бумага казенная, в коей все об этом человеке уже сказано? Русский таков – наврет о себе три короба, а в бумаге о нем – изящно и экстрактно».

Над великой Российской империей порхали бумаги, бумажищи и бумажонки. Их перекладывали, подкладывали, теряли. Вместе с бумагой на веки вечные терялся и человек: теперь ему не верили, что он – это он.

– Да нет у меня бумаги, – убивался человек. – Где взять-то?

– Вот видишь, – со злорадством отвечали ему, – ты, соколик, и доказать себя не мочен, и ступай от нас... Мы тебя не знаем!

Но иногда от засилия бумаг становилось уже не вмоготу. Тогда умные люди (воеводы или прокуроры) делали так: ночью вроде бы случайно начинался пожар. Утром от завалов прежних – один пепел. И так приятно потом заводить все сызнова:

– С бумажки, коя у нас числится под номером перьвым! Гараська, умойся сходи да пиши в протокол о ноздрей вырывании вчерашнем. Чичас учнем, благословясь... Образумь ты нас, грешных, царица небесная, заступница наша пред сущим и вышним!

...

А где же преклонить главу человеку русскому? Где лечь и где встать, где ему затаиться? Враги общенародные по душе нашей плачутся. Ищут они тела нашего, чтобы распять его. Господи, зришь ли ты дела ихние, вражие? Горит душа... Русь горит!

И не только города на Руси – сгорали и люди, и костры сложившись, и звалось в те времена самосожженье людское словом простым и зловещим – *гарь*. Не стало веры в добро на Руси, едино зло наблюдали очи русские. В срубах из бревен, которые смолою плакали, сбивались кучей – с детьми и бабками. Поджигали себя. Дым от гарей таких столбом несло в облака. В дыму этом утекали в небытие души людские – души измученные, изневоленные от рабства вечного, чрез огонь убегающие. Сгорали семьями, толпами, селами. Иногда по 30 000 сразу, как было то на Исети да на Тоболе, было так на Челябине да на Тюмени. И не надо даже апостолов, зовущих в огонь войти, как в храм спасительный. Нищета, страх, отчаяние – вот кремни главные, из коих высекались искры пожаров человеческих...

Гари те были велики, были они чудовищны. Но дым от них едва ль достигал ноздрей первосвященников синодальных.

– Жалеть ли их нам? – говорил Феофан Прокопович и отвечал за весь Синод: – Не стоят они и слезинки нашей... Ибо убытки души заблудшей сильнее всех иных убытков в осударстве русском!

Ропот же всенародный тогда утишали через –

«ХОМУТЫ, притягивающие главу, руки и ноги в едино место, от которого злейшего мучительства по хребту кости лежащие по суставам сокрушаются, кровь же из уст, из ушей и ноздрей и даже из очей людских течет...»

«ШИНОЮ, то бишь разожженным железом, водимым с тихостью или медлительностью по телам человеческим, кои от того шипели, шкварились и пузырями вздымались... Из казней же самая легчайшая – вешать или головы отрубать...»

«НА ДЫБЕ вязали к ногам колодки тяжкие, на кои ставши, палач припрыгивал, мучения увеличивая. Кости людские, выходя из суставов своих, хрустели, ломаясь, а иной раз кожа лопалась, а жилы людские рвались, и в положении таком кнutom били столь удачно, что кожа лоскутьями от тела отваливалась...»

Над великой Россией, страной храбрецов и сказочных витязей, какой уже год царствовал многобедственный страх. Чувство это подлейшее селилось в домах частных, страх наполнял казармы воинские и учреждения партикулярные, страхом жили и люди придворные в самом дворце царском.

Год 1735-й – как раз середина правления Анны Иоанновны.

Пять лет отсидела уже на престоле, нежась в лучах славы и довольства всякого. Наисладчайший фимиам наполнял покои царицы. Придворные восхваляли мудрость ее, академики слагали в честь Анны оды торжественные. Лучшие актеры Европы спешили в Петербург, чтобы пропеть хвалу императрице русской, и были здесь осыпаны золотом. Изредка (все реже и реже) грезилась Анне Иоанновне дни ее скудной молодости, заснеженная тишь над сонною Митавой, когда и червонцу бывала рада-радешенька. А теперь-то лежала перед ней – во всем чудовищном изобилии! – гигантская империя, покорная и раболепная, как распятая раба, и отныне Анна Иоанновна полюбила размах, великолепие, исполнение *всех* желаний своих (пусть даже несбыточных).

– Колокол иметь на Москве желаю, – объявила однажды. – Чтобы он на весь мир славу моему величеству благовестил. Дабы всем колоколам в мире был он – как *царь – колокол*...

А жить-то монархине осталось всего *пять* лет (хотя она, вестимо, о сроках жизни не ведала). Баба еще в самом соку была. Полногрудая. Телом крепкая. С мышцами сильными. На мужчин падкая. Черные, словно угли, глаза Анны Иоанновны сверкали молодо. Корявое лицо – в гневе и в страсти – оживлял бойкий румянец. Не боялась она морозов, в свирепую стужу дворцы ее настезь стояли. Платок царица повяжет на манер бабий, будто жена мужицкая, и ходит... бродит... подозревает... прислушивается.

Иногда в ладоши хлопнет и гаркнет во фрейлинскую:

– Эй, девки! Чего умолкли? Пойте мне... Не то опять пошлю всех на портомойни – для зазору вашего портки стирать для кирасиров моих полка Миниха! Ну! Где веселье ваше девицье?

И, отчаянно взвизгнув, запоят фрейлины (невывавшиеся):

Выдумал дурак – платьем щеголять
И многим персонам себя объявлять.
Что же он, дурак, является так,
Не мыслит отдать любезный мне знак?

Из соседних камор притащится постаревший Балакирев:

– Ты их не слушай, матушка. Лучше меня тебе никто не споет:

В государственной конторе
Сидит молодец в уборе.
На столе – чернил ведро,
Под столом – его перо...

Отсыревший горох скучно трещит в бычьем пузыре – это ползет шут Лакоста, король самоедский. За ним, на скрипке наигрывая, дурачась глупейше, явится и Педрилло. С невеселою суетой, локтями пихаясь, ввалятся к императрице и русские шуты – князь Волконский, Апраксин да князь Голицын – Квасник. Нет, невесело царице от их шуток и драк, князь Голицын, уже безумен, однажды ножом себя резал, а Балакирева ей давно поколотить хочется.

– Ты зачем, – придиралась она к нему, – дурака тут разыгрываешь, коли по глазам видать, что себя умнее меня считаешь?

Балакирев императрице бесстрашно отвечал:

– Я, матушка осударыня, совсем не потому в дураках – почему и ты дура у нас. Я дурачусь от избытка ума, а ты дуришь – от нехватки его. Не пойму вот только: отчего я не богаче тебя стал?

И был бит... Дралась же Анна Иоанновна вмах – кулаками больше, как мужики дерутся. И столь сильны были удары ее, что солдата с ног кулаком валила. Зверья и дичи разной набивала она тысячами, удержу в охоте не ведая. Трах! – вылетали из дворца пули, разя мимолетную птицу. Фьють! – высвистывали стрелы, пущенные из окон (иногда и в человека прохожего).

– Ништо мне сдееся, – говорила Анна Иоанновна, собою довольная. – Эвон сколь здоровушша я, и промаха ни единого!

Одно беспокоило по утрам императрицу – тягость болезненная в низу чрева ее. Урину царскую выносили в хрустальной посудине на осмотр лейб-медикам – Фишеру, Кондоиди, Каав-Буергаве, Лерхе, де Тейльсу... Показали ее как-то и Лестоку, который от лечения Анны Иоанновны был отстранен, как прихвостень Елизаветы Петровны. Лесток ничего не сказал в консилиуме, но при свидании с цесаревной Елизаветой шепнул ей на ушко:

– Урина-то загнивает в пузыре у царицы. И оттого жития ей осталось немного... Ваше высочество, коли пять лет назад не смогли на престол вскарабкаться, так я вас сейчас подсажу!

Елизавета в страхе захлопнула ему рот душистой ладонью.

– Ой, Жано! – сказала. – Больно ты смел стал... Молчи.

...

Инквизиция нерушимо дежурила на страже забав и покоя императрицы, а начальник ее, Андрей Иванович Ушаков, был крепко задумчив. Думал он думу неизбежную – как бы государыне угодить? Казна вконец уже разорена, и ныне Анна повсеместно прибылей для себя ищет. И любая Коммерция, любая Коллегия, Сенат высокий и Кабинет великий – все учреждения государства выгоды ей представляют. Одна лишь Тайная канцелярия людишек коптит заживо, члены им отрывает, топит в мешках с камнями, но доходов от пыток что-то не предвидится. «А нельзя ли нам, – мыслил Ушаков, – со страха общенародного прямую выгоду иметь? Ведь ежели россиянин в страхе содержится, то... разве же не даст? Даст, как миленький!»

И – придумал.

– Языки, – намекнул Ушаков. – Языки трепать надобно...

Во времени том, диком и безъязыком, когда всё замолкло на Руси, явились тогда кричащие «языки». Под праздники на дни Христовы стали из Тайной розыскных дел канцелярии выводить узников на улицы и по тем улицам проводили их меж домов, заставляя на людей безвинных, случайно встреченных, кричать «слово и дело»... Вот когда ужас-то настал! Каждый теперь пешеход и даже дитя малое, едва кандалных завидя, спешил укрыться, оговору боясь. Словно тараканы, забивался в щели народ... И текли золотые ручьи в канцелярию Тайную, а оттуда – прямо в покои императрицы. Страх, оказывается, тоже прибылен.

– Вижу, – сказала Ушакову царица, – что ты служишь мне с ретивостью. Я тебя за это взыскую своей милостию...

В царствование «царицы пристрастного зраку» народ русский отвык по гостям ходить. И сам в гости не набивался. Жили в опаске от слухачей и соглядатаев. Было! Ведь уже не раз такое бывало... Ты его, сукина сына, в гости к себе залучишь, от стола твоего он сыт и пьян встанет, а потом назавтра, похмелясь исправно, на тебя же донос и напишет: что говорили, что осуждали... Ой, худо стало на Руси! О, как худо, не приведи господь!

А в тюрьмах полно народу сидело после праздников. Виновны они – шибко виновны: первый тост за столом произносили с бухты-барахты, не подумав. Пили за кого придется, а не за матушку пресветлую, государыню Анну Иоанновну...

Не знал теперь человек русский, с какой ему стороны и беды поджидать. На всякий случай – отовсюду ждали. Доносы в те времена и вот такие бывали:

«...у него в доме печь имеется, в изразцах, в коих изображены зело орлы двухглавые. Поелику орел есть герб государственный, кой принадлежит токмо все милостивейшей государыне нашей, и в том видно злостное оскорбление фамилии высокой, ибо неспроста... Герб на печных изразцах означает желание *сжечь* его!»

Взяли владельца печки за шкуру. И повели голубя. Уж как он плакал, как убивался... Домой он больше не вернулся.

...

В этом 1735 году, который рассекал пополам время правления Анны Иоанновны, как раз в этом году далеко на юге, над выжженными степями ногаев, стал разгораться красноватый огонь одинокой звезды. Это замерцал над скованной Россией полуночный Марс – звезда воинственная, к походам и кровопролитию зовущая...

В один из дней из покоев императрицы, арапов отшибив плечом и двери ломая, вывалился хмельной Миних, а в руке фельдмаршала, жилистой и багровой, тускло мерцал палаш.

– Войны жажду! – Миних объявил, и лицо его сияло. – Да здравствует честь... слава... бессмертие. Разверните штандарты мои – пусть все знают, что я иду...

«Гегельсберг» – это слово приводило фельдмаршала в трепет. Два года назад под этим фортом Гданска в одну лишь ночь Миних угробил три тысячи душ. Теперь мечтал он реками крови смыть с себя позорное пятно неудачи под Гегельсбергом... И трясся палаш в руке Миниха.

– Горе вам всем, сидящие на Босфоре! – взывал он...

Остерман, словно повивальная бабка, принимал все роды войны и мира. Сейчас он потихоньку, шума не делая, наблюдал, как в загнивающей утробине Крымского ханства созревает плод новой для России войны, и... «Не ускорить ли нам эти мучительные роды?»

Восковыми пальцами Остерман растирал впалые виски.

– Тише, тише, – говорил он Миниху, озираясь. – Здесь послы саконский и голландский, что они отпишут своим дворам? Что мы начинаем войну? Но войны ведь нет еще, слава всевышнему...

Вице-канцлер ударил ладонями по ободам колес и (весь в подушках, весь в пуху и бережении от дворцовых сквозняков) въехал на коляске в сумеречные покои царицы. Здесь трепетали огни множества лампадок, сурово взирал с парсуны юродивый Тимофей Архипыч, а возле него висел портрет жеманного красавца и поэта – графа Плело, убитого под Данцигом. Анна Иоанновна сидела на кушетках и вязала чулок для Петруши Бирена, сынка своего обожаемого.

– Боюсь я, – сказал ей Остерман. – Ваше величество, боязно Русь в войну бросать. А... надобно! Положение в стране столь ныне неблагоприятно, что можно бунта мужицкого ждать. Газеты европейские уже сколько лет гадают: *когда* революция у нас будет? А дабы бунтов избе-

жать, – усыпляюще бубнил Остерман, – мудрейшие правители всегда войною отвлекают народ от дел внутренних к делам внешним. Армия же при этом тоже неопасна для престола делается, ибо, батальями занята, она лишь о викториях славных помышляет...

...

Но прежде чем Россия вступит в войну с Турецкой империей, дипломатия русская в трудах пребывает, готовя в политике тылы государства для безопасности. Договориться с шахом Надиром в Персию был послан князь Сергей Голицын (сын верховника, бывший посол в Мадриде). С дворами европейскими «конжурации» союзные подготавливал граф Густав Левенвольде – обер-шталмейстер царицы.

По ночам над избами русскими да над курениями украинскими тусклым светом разгоралась воинственная звезда Марс, и был тот свет в небесах – как рана, старая и болящая.

Быть войне! Снова быть крови великой!

О Русь, Русь... Тебе ведь не привыкать.

Глава вторая

Через слюдяные окошки возка Левенвольде мерещились всякие чудеса, спешащие вровень с его каретой, которая, скрипя кожей рессор, всю зиму колесила по зябкой, слякотной от распутиц, неуютной Европе... *Вена*, – и посол здесь говорил о турецкой угрозе для Австрии и России; *Дрезден*, – тут Левенвольде вел долгие беседы с Августом III о делах польских и курляндских; вот и *Берлин*, – король прусский просил Курляндию для себя, а Левенвольде извинялся за грубость Миниха... Миних вообще наделал забот дипломатам: по взятии Данцига, разгорячась, он объявил: «А чего там король прусский скрипит своими заплатанными ботфортами? Не взять ли мне у него Кенигсберг, паче того, к России городишко сей гораздо ближе, нежели к Берлину...»

А за Неманом синел лес и волки долго гнались за каретой посла. Остановясь в Ковно на ночлег, Густав Левенвольде размышлял о бытии и смысле жизни человеческой. Ему казалось, что он – не он, что жизнь была, но где-то в прошлом. «Была ли жизнь?» – спрашивал себя посол, и колокол полночной церкви, как филин, ухал в тишине древнего Ковно. Казалось, все уже было – в избытке! Он достиг высот, о каких ранее не помышлял. Случись что-либо с Остерманом, и Левенвольде заступит его место. Дворы Европы и сейчас почтительно выслушивают Левенвольде, из-за спины которого торчат штыки неисчислимых армий русских...

Среди ночи Густав проснулся весь в липком поту:

– Запрягайте лошадей! Еще час – и я... умру, умру!

Из ночной таверны лошади вертко вывернули карету за ворота. Снова потекли леса, под луною синели сугробы, низко присевшие перед таянием. Левенвольде разбудили в Митаве, но он велел не останавливаться. Митаву он рассматривал через окошко: обитель юности теперь была унылой и печальной; лошади сбежали на подталый лед, быстро вынесли карету на другой берег Аа; впереди раскинулась наезженная санками латышей прямая дорога на Ригу.

Здесь, в Риге, он придержал лошадей. И надел на лицо черную маску из тонкого батиста с прорезями для глаз. Свое лицо ему казалось теперь чужим, и Левенвольде скрывал его... от чужих! За двором Конвента ордена Меченосцев, на узкой улочке, в пропасть которой с высоты глядится Саломея, рубленая из дуба, Левенвольде дернул дверное кольцо и сорвал с себя маску.

– Здесь живет маг и волшебник Кристодемус? – спросил он.

Навстречу вышел толстый человек в домашнем колпаке.

– Увы, – ответил он, – доктор Кристодемус, столь прославленный искусством врачевания, исчез таинственно и странно.

– Жаль! – огорчился Левенвольде, запахивая плащ. – Я чем-то болен, но не пойму – чем? Жизнь, как и раньше, течет, а я не нахожу в ней больше интереса и забавы.

– Я тоже врач, – ответил незнакомец, приглашая гостя внутрь дома. – Позвольте узнать, с кем я говорю?

– Я путешественник. Проезжий... через Ригу.

– Вы в зеркало давно смотрелись, проезжий путешественник?

Левенвольде со смехом достал из-под плаща черную маску:

– Я не носил бы это, если б не заметил, что лицо у меня сильно изменилось. Отвратительно толстеют нос и брови, лицо мое хмуро постоянно, даже когда я весел или пьян ужасно.

– А что сказали вам врачи?

– Они все объясняли меланхолией неразделенной любви. Но они, глупцы, ошиблись: я люблю только себя, и эта моя любовь не может быть не разделенной мною же!

Врач сказал Левенвольде, чем он болен, и посол помертвел:

– Проклятье! Впрочем, как же я сам не догадался о своей болезни? Ведь лицо уже не то, что было раньше. Оно приобрело облик льва рассерженного. А это – явный признак...

– Вы были на Востоке? – осведомился врач.

– Нет! – разрыдался Левенвольде. – Виной тому крестовые походы: предки мои еще из Палестины вывезли сюда проказу, и вот... О наказание божье! От славы предков поражен их славный потомок... Мне ничего теперь не жаль, и менее всего мне жаль теперь себя. Прощайте! Я теперь стал богом, но... прокаженным богом!

С лицом рассерженного льва, двигая бровями толстыми, с трудом волоча слоновьи ноги, Густав Левенвольде вернулся в карету.

– Поехали. На Венден. А оттуда – в Петербург... Отныне стану делать все, что ниспошлет мне бог. Канава на пути моем? Мне лень переплывать ее: согласен утопиться и в канаве. И чем ужасней все – тем все прекрасней... Едем!

...

«Нужна дорога мне – в дороге легче думать... Как страшен прокаженный мир, и в этом мире – Я! Теперь я стану в этом мире для других самым страшным...»

За Ригию леса сомкнулись, плотно обступая дорогу. Тишина, мрак, оторопь и – вой... «Пускай теперь другие их страшатся. Вперед, вперед, моя карета! Шуми же, лес... вы, волки, войте... а мрак – дави и ужасай. Ничто теперь не страшно Левенвольде!»

– Вон светится последняя корчма, – показал ему кучер. – Дорога опасна от разбойников; может, заночуем? Кажется, кто-то едет навстречу нам... спешит в Ригу.

– Остановись и прегради дорогу им моей каретой.

Он опустил маску на лицо и, засыпав порох в пистолы, вылез из кареты. Навстречу двигался возок, кучер на нем спал, ослабив вожжи. Удар выстрела, рука Левенвольде отлетела назад в грохоте, и кучер, так и не проснувшись, в крови свалился на дорогу. А в глубине возка, простеганного холстинкой бедной, таился молодой человек, испуганный и жалкий.

– Мне нужен ваш кошелек, – сказал ему Левенвольде и деньги из кошелька чужого рассыпал по дороге. – Теперь ответьте мне по чести: так ли уж дорога вам жизнь?

– Я лишь вступаю в нее. Спешу на свадьбу в Ригу к своей невесте... Будьте же ко мне милосердны!

Левенвольде выстрелил в него из двух пистолетов сразу:

– Ха-ха! Так поспеши в объятия тленности вечной...

В середине ночи карета сбилась с пути на Венден, колеса вязли в снежной жиже. Вокруг – ни огонька, ни возгласа. Только где-то вдали (очень и очень далеко) неустанно лаяла собака. Лошади, мотая гривами, по брюхо застревали в сугробах. «Вперед, вперед, вперед!» – гнали их ударами бичей.

– Вот это ночь! – ликовал Левенвольде. – Боже, благодарю тебя за радость, доставленную мне... Я даже весел, мне хорошо.

Дух разбоя и грабежа, этот дух предков Левенвольде, вдруг ожил в нем и радовал его. А лифляндские места были незнакомы курляндцу; Левенвольде дверь кареты распахнул и мрачно наблюдал рассвет, сползающий с холмов в низины. Лес, лес, лес... И вдруг он разом расступился, а в розовых лучах возник старинный замок. Высоко взлетал к небу шпиль кирхи, со дна озера вставали каменные стены, топилась печь на кухне замка, дым в небо уходил струей тонкой, залиvisto прогорланил петух...

Кони ступили на мост. Над воротами – герб баронов.

– Чей это замок? – спросил Левенвольде у стражи.

– Замок «Раппин»... здесь живут знатные бароны Розены!

Маршалок провел Левенвольде в покои для гостей.

– Скажите своему хозяину, – велел Левенвольде, – что у него остановился обер-шталмейстер двора имперско-российского и полковник лейб-гвардии Измайловского полка...

Его разбудили высокие голоса мессы. Играл орган, и ветер бился в окна, узкие, как бойницы. Левенвольде спустился в церковь. Молилась девушка – лет пятнадцати, красоты чудесной. Она его даже не заметила... Левенвольде навестил хозяина замка – седого поджарого барона Розена.

– Барон, вы, надеюсь, знаете, кто я таков?

– Да, маршалок мне доложил о ваших званиях. Мы счастливы принять вас у себя.

– Я прошу, барон, руки дочери вашей.

– Какой? У меня их три – одна другой достойней.

– Я безумно люблю именно ту, которая молится сейчас в храме вашего замка, так чиста и так возвышенна...

Старый барон согнул колено, скрипнувшее отчаянно в тишине:

– Какая честь! Моя дочь Шарлотта и не мечтала о столь высоком браке... Вы облагодетельствуете нашу скромную фамилию.

«Скорей, скорей – навстречу гибели!..» На полянах расцвели первые робкие ландыши. Было тихо и солнечно. От леса набегал ветер, разворачивая над крышей замка два трепетных штандарта – баронский (фон Розенов) и графский (рода Левенвольде).

Из-под нежной кисеи виднелись, словно раскрытые лепестки, розовые губы девочки. Левенвольде нерушимо стоял на каменных плитах церкви в дорожных грубых башмаках, и лицо льва затаило усмешку. Над этими людьми, что поздравляют; над этими женщинами, которые завидуют невесте... «Какая честь! – он думал, издеваясь. – Но прокаженным все дозволено».

Вечером он поднялся к невесте и силой принудил ее к ласкам. Горько рыдающую девочку он спросил потом – уязвленно:

– Итак, вы счастливы, сударыня, став графиней Левенвольде?

– Да... благодарю вас. Я так признательна вам...

– Вы в самом деле любите меня? Или послушались отца?

– Как можно не любить... – шепнула она губами-лепестками.

– Благодарю вас! – И он удалился, крепко стуча башмаками.

Когда утром к нему вошли, он был уже мертв.

Левенвольде сидел в кресле, глубоко утопая в нем; рука обер-шталмейстера была безвольно отброшена. Лучи первого солнца дробились в камне его заветного перстня. Старый барон снял перстень с пальца Левенвольде и протянул его дочери:

– Вот память нам об этом негодяе. Возьми его, Шарлотта, только осторожно... он с ядом! Все Левенвольде – отравители...

В глубинах замка прокричал петух. Из-под низко опущенных бровей скользнул по девушке строгий взгляд мертвого Левенвольде. В стене той церкви, где он впервые встретил юную Шарлотту, был сделан наскоро глубокий склеп. В мундире и при шпаге, в гробу дубовом, он был туда поспешно задвинут. И камнем плоским был заложен навсегда. К стене же храма прислонили доску с приличной надписью и подробным перечнем всех постов, которые сей проходимец занимал при жизни бурной...

Смерть Левенвольде не прошла бесследно – в придворных сферах Петербурга началась передвижка персон, и кое-кто подвинулся, а кое-кто поднялся на ступеньку выше. И очень высоко подскочил Артемий Волинский!..

...

Недавно я посетил замок «Раппин» и долго стоял перед могилой Левенвольде, вглядываясь в уродливых львов на гербе знатной подлости. А надо мною, всхлипнув старыми мехами, вдруг проиграл орган – тот самый, который разбудил когда-то Левенвольде. Минувшее предстало предо мною: да, именно вот здесь, на этих серых плитах, молилась девочка, прошедшая свой путь по земле бесследно и невесомо – как тень... Как тень прошла она, унесенная ветром в забвение прошлого.

А на пригорке в забросе покоилось фамильное кладбище Розенов, обитателей этого замка. Я читал надписи на камнях и размышлял о времени: здесь лежали уже сородичи декабриста Розена. Время тихо и незаметно смыкалось над древними елями... В поисках дороги на Венден (нынешний Цесис) я долго блуждал по лесу – там же, где 250 лет назад заблудился ночью прокаженный Левенвольде.

Глава третья

Потап Сурыдов, на Москве проживая, промышлял чем мог. Теперь, когда два года подряд неурожай постигал Русь, императрица разрешила милостыньку свободно вымаливать. И от этого в городах теснотища возникла: нищие так запрудили улицы, что кареты барские порою не могли проехать... Потапу стыдно было руку тянуть – малый здоровенный, на целую башку всех выше, а когда шапку наденет, так и торчит надо всеми, словно колода... Стыдно! Лучше уж украсть, нежели руку Христа ради протягивать.

В морозы лютейшие гуляющий народ больше около фартин терся. Напьются вина кабацкого, а ночью спят. Иные, кто хмельного не желал принимать, тот прямо в баню шел – отчаянно и жестоко там парился. Полторы тысячи бань на Москве тогда было, а в банях все голые – возьми-кось сыщи меня! Первопрестольная всем сирым приют давала: улицы темные, идешь – черт ногу сломает, пустырей и садов множество, заборы гнилые, ткни его – и повалится. Тут-то и раздолье тебе: свистнешь прохожему – у того душа в пятки скачет. Сам отдаст, что накопил, только бы до дому живым отпустили.

По привычке, еще солдатской, Потап бороду брил, и для той нужды были на Москве многие цирюльни, где тебя исправно за грошик выскоблят. Над питейными погребями висели гербы императрицы и красочные вымпелы развевались. Будто корабли, плыли в гульбу и поножовщину кабаки царские, заведенья казенные. А над табашными лавками рисованы на жести приличные господа офицеры, кои трубки усердно курят. Ряды – бумаженные, сайдашные, кружевные, шапочные, котельные, ветошные, калачные и прочие, – есть где затеряться, всегда найдешь, где свой след замести...

На Зарядье, в самом темном углу Китай-города, зашел как-то Потапушка в обжорку. Стукнул гривной по столу, что был свинцом покрыт, и запросил водки с кашей. А напротив старичок посиживал, чашку жилярского чайку с блюда сосал, носом присвистывая.

– Величать-то тебя как, дедушка? – спросил его Потап.

– Допрежь сего, пока не рожден был, не ведаю, каково меня называли. Лета ж мои – по плоти, а духовные лета скрыты. Може, мне с тыщу и накапает. Да токмо сие рассуждение – ума не твоего.

– Чудно говоришь, старичок, – задумался Потап. – Вроде бы ты и не человек, а... Откель сам-то? Где уродили тебя экого?

– Да все оттуда... – задрал старичок бороду. – Со небес наземь упал я! Меня сам боженька на землю спихнул... Эвот как!

– Небось больно было тебе с неба на землю падать?

– Не. Даже приятно. Меня тихие ангелы крыльями носили...

Потап озлился от вранья, вспомнил он страхи застеночные. И каши зачерпнул рукой с миски, стал бороду старика кашей мазать:

– Ой, и не ври ты, псина старая! Иде твои ангелы тихие? Иде душа Иисуса Христа? Нешто они горя людского не видят?

Тут сзади какие-то бугаи зашли, навалились:

– Вяжи его! – И ломали Потапу кости. – Ен утеклый, видать...

Даже дых переняло, – столь сильно помяли. А напротив все так же мирно сидел старичок, с небес на землю упавший, и вся борода его – в каше гречневой, которая в коровьем сычуге сварена.

– Отпустите его, – сказал он вдруг, пятак вынув и положив его пред собой, стражей и сыщиков во искушение вгоняя.

Потап спиною слабость в фискалах ощутил и, путы рванув, стол сшиб. Вылетел на мороз. И там старичка под забором дождался.

– Отец ты мой, – сказал ему Потап. – Уж не чаял я защиты от тебя. Почто добром услужил мне? Ведь я тебя кашей испачкал...

Старичок вертко улицу оглядел, к уху парня приник.

– Идем, – шепнул. – Христу и богородице явлю тебя.

– А и веди! – решился Потап. – Я вот Христу-то всю правду изложу: разве пристало людям русским таково далее маяться?

...

Иисус Христос имел жительство возле Сыскного приказа (это как раз налево под горушкой, возле церкви Василия Блаженного, где ранее был приказ Разбойный). Дом у Христа имелся от казны даденный, ибо «спаситель» наш служил ныне мастером дел пытошных. Звался он Агафоном Ивановым, сам из мужиков вышел, похаживал теперь по комнатам в белой до пят рубахе, сытенько порыгивая, а округ него – всякие там крестики да иконки развешаны.

– Ноги-то вытри, – сказал Христос Потапу. – Чай, не в кабак ломишься, братик, а в наши горницы духмяные...

Стало тут Потапу даже смешно: нешто же, в рай входя, надобно ноги вытирать? Однако не спорил – вытер. Тут за стол его посадили, потчевали. А вина и табаку не давали.

– Это грех, – сказали. – Мяса тоже не ешь. – И при этом Потапа по спине гладили. – Ого, – на ощупь определил опытный Христос, – ты уже, чую, дран от кого-то был... Оно так и надо: сколоченная посуда два века живет... А что думаешь-то?

– О жизни думаю... Плохо вот! Жить плохо, – отвечал Потап.

– Прав, соколик мой ясный: спастись нам надобно.

– Да я бы спасся... Не ведаю только – как?

– Очистись, – строжайше велели Потапу.

– Я мало грешен. Видит бог – коли по нужде, а так – не!

– А ты и согреси. – И опять по спине его гладили.

– На што? – дивился Потап. – На што грешить-то мне?

– Чтобы потом и очиститься... А сбор святых, – молол ему Христос, – на Москве сбудется. Вот, когда-сь с Ивана Великого колокола вдарят, тогда – жди: мертвяки из гробов смердящих воздымутся. И все пойдут на Петербурх – там суд состоится... Страстный! Небо же явится нам уже новехонько – все в алмазах, и на нем узрят верующие чуден град Сион.

– А дале-то? – сомневался Потап. – Дале-то как? За притчею-то твоею, Агафон Иваныч, что видеть мне надобно?

– Сие не есть притча. Дале нам хорошо станется. Загуляем мы с тобой, праведные, в садах райских. Ризы у нас золотые, дворцы хрустальные, яства сладкие, а бабеночки молоды и податливы.

– Это какой же такой рай... с бабами? – дивился Потап.

– Мир здесь, на земле, духовен да будет! – внушал ему Христос. – А там, на небеси, за всю жизнь остудную оплатится тебе сладостью утех мирских, плотских. Все наоборот обернется по уставам нашим. И сейчас, дабы рая достичь, ты женою не заводись. От жены смрад гнусный исходит – не надо тебе жены. А приходи к нам в Иерусалим новый и любую бабу для своих потребностей ты во благоухании избери...

Хотел Потап прочь уйти. Но в доме Христа-баламута столь тепло было и тихо, что поневоле телом заленился. Шапку под голову себе кинул, на лавке проспал до вечера. Потом его подняли, велели белую рубаху надеть и ко греху готовить себя.

– Да на что он мне сдался, этот грех ваш? – удивлялся Потап. – У меня и без ваших грехов своих хватает. На што зло копить?

Ввели его в горницы, Иерусалимом называемые. А там – народищу полно. И мужики и бабы, старые и молодухи, все шепчутся, какими-то листовками шуршат. Запели они согласно – по команде:

Сниде к нам, Христе, со седьмого небесе,
походи с нами, Христе, под белым парусочком,
сокати с небесе, дух ты, сударик святой...

Выскочил посередь избы мужик – черт голый, а не мужик. Без порток. И заскакал среди баб, хлеща их неистово плеткою.

– Хлыщу, хлыщу! – кричал он. – Христа ищу, ищу...

Сначала мужики и бабы шли в стенку – одна стенка на другую, будто хоровод водили. Раздувались их «паруса» – белые рубахи, чистые. Потом богородица, карга старая и гнусливая, на престоле хлыстовском сидючи, пискнула – будто мышь:

– Пошли усе в схватку! Хватай друг друженьку... мни! мни!

Плюнул Потап в темноту, блудом хлыстовским напоенную, и ушел. «Спасаться и надо бы, – думал. – Да... *как?* Хорошо бы мастерство немецкое изучить. Скажем, замки дверные, безмены купеческие или пистолы воинские делать. Опять же – разве худо около дерева всю жизнь провести? Доски гладить, гробы собирать?..»

В кабаке Неугасимом ему знакомство выпало. Вошел в питейное господин молодой и долго Потапу в глаза смотрел. И, вдоволь наглядыся, так он заговорил:

– Сыне я дворянской, сержант гвардии, и могу тебя в крепостные свои определить. Хошь?.. Только – уговор: я тебе пять рублей дам, и ты моим рабом станешь. А потом я продам тебя, и с торга того ты с меня еще три рубля получишь... Стоишь ли ты того?

– Стою, – сказал Потап и заплакал. – Видит бог, – горевал он над кружкой, – пропала моя головушка... Ладно, господин добрый. Бери меня в оклад подушный за пять рублей. Продавай меня хоть черту за три рубля... Замерз вот я. В тепле давно не спал. Лучше уж в рабстве твоём крышу иметь над головой... Пошли!

И за пять рублей продал себя Потап обратно – в рабство.

...

Новый барин его – сержант Гриша Небольсин не в пример Филатьеву оказался добрым. Работами не принуждал, в масле да в пиве не отказывал. Торговал он живым товаром и с того жил. Такие господа на Москве водились тогда...

Только пришел однажды Небольсин с похмелья, аж посинел:

– Прости меня, Потапушко. Вчерась я спьяну забыл цену за тебя просить. А просто подарил тебя... Сходи же умойся во дворе. Да гребешок у баб попроси расчесаться и не гляди звероподобно...

Сел барин в санки, Потапу велел на запятки вскочить. Поехали. Прыгали санки по сугробинам. Небольсин лошадей завернул, пошли они рысью под угорье Замоскворецкое – места Потапу знакомые.

– Тпррру-у... – остановились вдруг, и Потап обомлел.

Небольсин задержал санки как раз напротив дома Филатьевых; внутри двора брнчала цепь – медведь по кругу ходил, на проезжих фыркал. Потап на снегу присел, стал онучи разматывать. Пять рублей из-под лаптя достал и вернул их честно сержанту:

– Ты меня не покупал, я тебе не продавался. Из этого дома Филатьевых и пошли невзгоды мои. Хошь правду знать, так знай: я со службы царской бежал. А за твой перекуп и укрывательство беглого тебе же и худо будет... Прощай, барин, я зла не желаю!

Повернулся и пошел от сержанта прочь. Прямо в баню пошел, где на последнюю копейку власть парился. А вокруг Потапа, от баб подальше расположась, фабричные с мануфактуры г-на Таммеса мылись. Были они хмельны и шумели. Парни вениками девок по мыльне гоняли, и вся баня веселилась. Между прочим, у одного фабричного пупок гнил. У другого сердце, словно птенец в гнезде, билось под кожей на груди – вот-вот выпорхнет.

– Ты, дяденька, не жилец, – посочувствовал ему Потап.

– Сам знаю, – отвечал тот, печалуясь. – Смолоду-то мне хорошо было: я за милостынькой промышлял. А потом, вот, дурак такой, на фабрику Таммеса попал. Думал, в люди здесь выйду. Опять же – свобода! С четырех утра до ночи у сукноделания пребудь, а потом гуляй душа, сколько влезет.

– Гулять-то мало, – усмехнулся Потап. – Когда же гулять, коли в четыре утра встанешь, а в полночь ляжешь? Выходит, и у вас жизнь никудышна. А я-то думал...

Тут к ним второй фабричный подошел да харкнул в Потапа.

– Это в науку тебе, чтобы ты от фабрик подальше бегал. Плюнул не в обиду тебе, а чтобы показать – какого цвета души у нас!

– Никак... зеленые? – сказал Потап, живот себе вытирая.

– Мундёр красим, – отвечал фабричный. – Потому как война скоро опять будет...

А пока он там мылся с разговорами, люди проворные в предбаннике не дремали и всю одежонку Потапа с собой уволокли. Одни онучи из убранства остались. Намотал их Потап вокруг ног, стали тут бабы над ним смеяться: «Хорош гусь!» Потап поначалу слезно и чинно банного компанейщика упрашивал:

– Ты почто за одежами нашими не следишь? Куды же мне на мороз идти? Теперь с ног до головы меня одевай во что хошь. Нет закону, чтобы в баню человека запускать одетого, а помытого нагишом выгонять.

Компанейщик таких, как Потап, и в грош не ставил.

– Еще поори мне тут, – отвечал, – так я от рогатки стражей покликаю. Со спины-то будто слишком ты сомнительный. Уж не бежал ли откель? Может, по тебе давно Сибирь-матушка плачет?

– Дай ты мне хламину какую ни на есть, – взмолился Потап.

– Эва! – рассуждал компанейщик, ликуя от своего могущества. – Да мне вить на всех обворованных хламинок не напасть...

А служитель мыльный – старенький, лыком округ чресел костлявых опоясан – сдуру или в науку возьми да ляпни:

– Не иначе, как сам Ванька Каин твою одежду уладил. Нонеча он тута чевой-то вертелся с девкою своей.

– Цыц! – пригрозил ему компанейщик, и все замолкли.

Вечером всех обворованных погнали к реке Яузе, чтобы они, дрова для бани приготовив, могли «сменку» себе заработать. Компанейщик даже покормить обещал. Дрова на своем горбу к баням несли. Во дворе их пилили, кололи. Средь ночи вчерашний ужин на стол ставили. Потап от усталости головою на стол лег – дремал. Под утро растормошили его и одежду под нос суют.

– Твоя? – спрашивают.

Потап протер глаза: стоял перед ним Ванька Осипов, что еще малолетком при доме Филатевых терся.

– А ныне, – говорил он, жмурясь, – я есть Каин прозванием. Одежонку свою бери. Мне банное воровство не кажется, ныне я при воровской академии обучаюсь. Карманное дело при-быльней...

Рассветало над Москвою. Выбрались они на Красную площадь – в толпу. Ванька на миг отлучился. Тыр-пыр – в народе, словно угорь скользкий. Обратно выдернулся – уже при огромных деньгах: сорок семь копеек Потапу показывал, хвастал:

– Академия воровская меня всему обучила. Учил нас дворянин Болховитинов – грамотей изрядный... Како пальцы гузкой держать, како и кошелек тянуть, самому не пымаясь. Есть на Москве и гениусы такие, что у баб серьги из ушей вынут, даже мочки не колыхнув...

Зашли в блинную, стали горку блинов съедать, макая их в масло топленое, в мед да в сметану. Потап о себе рассказал: а Ванька Каин пожалел его, на грудь припадая, поплакал малость:

– Как добра твоего не помнить, дяденька Потап? Нешто забыл я, как ты меня сечь отказался? За мою-то особу ты и мучение воинское на себя принял... Спасибо тебе, Потапушка!

Тут Потап попросил у Каина:

– Деньги твои бешеные. Уж ты извиняй на просьбе меня, а поделись со мной. Хучь гривенником... а?

Ванька Каин, не споря, ему гривенник дал...

– Ведь ты благодетель мой, – и даже поцеловал Потапа.

– Теперь-то я, – сказал Потап, блины доев, – на твои деньги легкие и уйду далеко... Подамся прочь из Москвы. Надоела!

...

Морозы крещенские его за Брянском настигли. Потап уже не чуял, как до ближней деревни добраться. Дорога – все лесом и лесом, конца нет дебрям... жутко! И вдруг веселою искоркою засветился костер. По снегу лаптями хрустя, Потап к огню подался – от шляха в сторону. И видит: под елкой лошаденка стоит, сани-розвальни тут же, а возле огня мужик с бабой своей и детишки малые греются. Кипит в их котле варево, булькая...

Мужик из саней топор выхватил, да – на Потапа сразу.

– Уйди, ворог! – кричал. – Ворог ты... уйди, зарублю!

Потап для опасения «засапожник» вынул – ножик страшный:

– Да нешто я вас губить стану? Не ворог я... сам погибаю.

А баба металась у огня, а детишки ревели. А над ними лес шумел – темный лес, брянский, волчий, лисий, медвежий, разбойный!

– Окстись! – потребовал мужик, топора не опуская.

Потап перекрестил себя через лоб рукою замерзлую.

– Уж не нашего ли ты толка? – спросил мужик, топор отбросив. – Эй, мать, – жену позвал, – гляди, он двупало крестился...

Потап руки ему свои протянул.

– Не двупало, – сказал. – Толка раскольничьего не знаю. Но померзли руки мои. Не мог пальцы троеперстно сложить...

До огня его допустили. И каши дали. И доверились.

– Иду вот, – рассказывал мужик, носом шмыгая, – от господ Ераковых спасаюсь, на Ветку иду счастья да сытости искать. Един раз был там, ишо холост. Да выгнали нас на Русь обратно! Не хошь ли, добрый человек, с нами за рубеж российский податься?

– Далеко ль идти-то?

– Аж до самого Гомеля, там реча Сож течет, берега у ней серебряны, а донце золотое. Стоит остров посередь воды, а на острову том – город русский. И живут богато, и власти царской не признают. Огороды там велики, сады душисты, никто не ругается, никто не дерется, живут трезво, один другого любя по-голубиному. И тронуть не смогут нас там – земля польская, зарубежная.

– За рубеж-то небось опасно уйти?

– Да рубежа ты и не почувешь. Веревка там не висит, забора никто не ставил... Така ж земля, как и российская. А дышать легче. Уж ты поверь мне: второй раз туды следую...

И пошагали они за рубеж – на Ветку пошли.

Глава четвертая

Маленький шах Аббас («владыка мира и убежище мудрости») еще развлекался игрушечной сабелькой, а Персией самовластно правил Надир. Спешить некуда – грянет час, и ребенку поднесут напиток, от которого Аббас сразу лопнет. А кто станет тогда «владыкой мира и убежищем мудрости»?.. Конечно, он – сам Надир!

Надир лежал на оттомане в глубине шатра зеленого прозрачного шелка, который был раскинут под апельсиновыми деревьями. Ножки ложа его (чтобы гроза и молния не покарали Надира) были сделаны из чистого хрусталя; вчера инженер-француз отвел ручей из древнего русла и пропустил его под самой оттоманкой. Хорошо журчит ручеек, пробегая между хрустальными ножками; сладко благоухает сад, разбитый еще с вечера внутри шатра. Через янтарный чубук Надир неторопливо посасывал желтое ширазское вино, когда к нему в шатер внесли подносы с человеческими глазами. Большими серебристыми грудями, слезясь и закивая, облепленные мухами, лежали глаза с помутневшими зрачками.

– Меч Востока и солнце вселенной! Вот глаза, что бессовестно взирали на мир, недостойные видеть твою тень на земле...

Глаза вырывались у тех, кто не мог уплатить Надиру налога. Острием ножа, легко и ловко, Надир стал пересчитывать своих должников. Глаза отлетали один за другим, сочно шлепаясь в глубокую лохань. Сбившись со счета, Надир зевнул, явно скучая:

– Сколько же здесь всего?

– Две тысячи катаров, о величье мира!

(В каждом «катаре» – семь глаз.)

– А где сейчас посол московский? – спросил Надир.

– Он приближается к тебе, дрожа от страха...

...

Он приближался... Под копытами коня соскальзывали в пропасть камни. Лицо князя Сергея Голицына иссушили горные ветры. От стужи снеговых гор посол проехал до зноя прибрежий, из-под тени елей он въезжал в прохладу рощ южных. Бурлили тут воды разные, ключами бьющие, воды ледяные и воды кипящие. На скалах пыжились фиолетовые ящерицы с безобразными головами, в бездонности неба парили коршуны. Мерно и звонко выступал конь посла России!

До чего ужасен мир Персии при Надира-шахе... Одиноко стоят караван-сарай; вокруг них, обглоданные шакалами, валяются ребра, позвонки и челюсти, оскаленные в смерти. Богатая страна превращена в пустыню. Люди одичали. Увидев всадника, житель убегает в скалы, прячется в камнях. Можно проехать всю деревню из конца в конец, и почти каждый крестьянин – одноглаз. А полные слепцы, глядящие на мир двумя гнилыми ранами, – это землепашцы, которые дважды податей Надиру не оплатили. На дорогах Персии сейчас мертво. Только изредка слышен стон, а вот и сам источник этого стога: бичами понукаемы, рабы на своих плечах несут к Мешхеду мрамор из Тавриза. Надир еще не стал законным шахом, а уже строит для себя дворцы, бассейны, башни и киоски для прохлады. А камни таковы, что люди, несущие их, кажутся муравьями. Все камни именами наречены: «Расход Мира», «Гордость Хоросана», «Надир-камень».

Хоросан – главная обитель Надира, а Мешхед – столица Хоросана... Тысячи мастеров из Индии, Китая, даже из Европы наводят яркий блеск на этот город. По единому слову Надира племена переселяются на пустоши, взрываются древние плотины, затопляя пашни, возводятся новые. Старые города – за неплатеж податей! – предаются огню, безглазые жители их сгоня-

ются в пустыни (так было с Шемахой, когда-то цветущей). По дорогам Персии везут в клетках к Надиру гирканийских тигров, халдейских львов, ведут слонов из долины Ганга, медленно выступают татарские верблюды. Закутанные в шелка, под струистыми паланкинами, проносятся к Хоросану невольниц для гаремов Надира – грузинок и черкешенок, сириек и китайнок, негритянок и полячек, украинок и русских.

Женщины Надиру противны, но пышность сераля – свидетель его величия... Так пусть они едут, чтобы изнывать до смерти в золоченых клетках гаремов, в благоуханных садах, где так звончаты фонтаны, где так прекрасны розы!

А ночлеги на дорогах опасны. Старый караван-сарай, сложенный квадратом из камня, весь унизан кельями, а внутри его – двор, и во дворе сгуртованы кони путников. Голицын, запахнувшись в плащ, сидит на корточках перед костерком, в котле кипит вода. Из китайской чашечки князь поддевает пальцем густую мазь чайной эссенции, бросает ее в котел. Рука посла берется за чашку.

– Проверьте, кто ночует с нами в караван-сараях, – говорит он начальнику конвоя. – Нет ли худых людей под нашей крышей?

Офицер Перфильев скоро возвращается.

– Чисто, – отвечает он князю. – Два араба, один англичанин, семейство армянское да девка краковская, в гарем везомая...

Тихие черные тени возникли на пороге. Это – армяне.

– Господин, – просят они посла шепотом, – спаси нас от гнева божия, дай паспорта русские. Мы разорены, жилища наши уничтожены, а жен и дочерей наших осквернили грязные афшары...

Голицын отвечает армянам (а в горле – комок слез):

– По договору Рештскому, не имею права отнимать под корону российскую подданных его величества шаха персидского. Советую вам бежать... в Астрахань! Там множество единоплеменников ваших. Купцы армянские уважаемы на Руси, живут счастливо и богато, нужды и притеснений не ведая. Я все сказал вам, люди добрые...

С криком, из-под стражи вырвавшись, вбежала к нему полячка:

– Пан амбасадор! Добротливу пан москвичанин, бендже ласкови... мние везц помимо власней воле... Сбавеня мние!

Прекрасно было лицо юной краковянки.

– Дитька моя, – отвечал ей Голицын скорбно. – Цо я моц зробиць? Мы с тоба в крайовах нехристиански. А я – амбасадор москвичанский, но не посполитый... Жалкую по тоби! Бардзо жалкую...

Послышался звон мечей; вошли стражи в тесных кольчугах, надетых поверх грязных халатов; свирепо глядя на неверных, схватили краковянку и увели. Среди ночи часто просыпался Голицын, слушал вой шакалов. Потом диким воплем резануло в тиши, и снова – тихо. Да, снова тихо. Князь уснул. В далеком и древнем селе Архангельском (вотчине дедовской) сейчас сыплется мягкий снежок, стегают меж берез косые зайцы.

В узкие бойницы окошек красным клинком вошел рассвет восточный. Караван-сарай уже пуст – все отъехали. А на воротах здания распята на гвоздях белая кожа, снятая с краковянки. В пустой комнате ворочался еще живой кусок красного от крови мяса.

– Езжайте все, – простонал Голицын. – Я догоню вас...

В пустынном караван-сараях грянул выстрел.

По каменистой дороге цокали копыта коня посольского.

Голицын проезжал как раз через Гилян, недавно отданную Надиру – от неразумных щедрот Анны Иоанновны. Посольство русское въехало в Мешхед, когда небеса уже темнели. В голову князя и его свиты летели камни, пущенные шейхами или нищими. Обнаженные дервиши сидели на корточках в теплой пыли и, закатив глаза под лоб, проникались молитвами,

искусно расковыривая щепочками свои язвы. Трупы умерших от голода валялись по обочинам рядом сдохлыми собаками, никем не убранные. В тончайший аромат персидских роз врывалось, смрадно и густейше, зловонье из канав проточных. А в тени кустов миндальных стояли наготове блудницы, держа в руках подушки и одеяла; непристойно крутя голыми животами, они распевали стихи в честь святого Хуссейна, сочиненные ими тут же (дар импровизации – дар волшебный: им где угодно можно удивить – только не в Персии!).

Князя встретил резидент русский – Иван Калушкин, молодой человек происхождения неизвестного, который, по слухам, чуть ли не из мужиков в дипломаты вышел; был он седой как лунь.

– Веди в дом, Ваня, да покорми чем-либо...

Ужинали при свечах. Говорили о Надире и политике в Персии: как будет далее? Надира надобно побуждать к войне с турками, ибо турки крымцев мутят, а крымцы рвутся в Кабарду – на Кавказ...

– Надир вечно пьян, – говорил Калушкин. – Оттого и визири его пьяны, войско пьет тоже, а с пьяными политиковать трудно.

– Скажи мне, Ваня, есть ли кто ныне в Персии счастливый?

– Вот только один Надир и счастлив, – отвечал Калушкин...

– Глаза мужикам нашим, – затужил Голицын, – пока еще не рвут за подати. А гаремы в Петербурге уже сыскать мочно. Народ наш приневолен так, что как бы Русь вся за рубежи не разбежалась.

– Зато вот от Надира не убежишь, – пояснил Калушкин. – По всем дорогам стоят рахдарамы, убивая каждого, кто к рубежам приблизится. Света же персам при Надире не видать. Коли кто имеет дерево плодоносящее, так сразу его срубают, ибо налог за него платить нет мочи. Лучше уж дерево срубить, нежели глаз своих чрез искусство палача шахского лишиться...

– Как рвут-то хоть? – спросил Голицын горестно.

– Они умеют. Щипцы особые. Или шилом раскаленным. Только зашипит глаз, и всё тут! Я видел... не раз. Оттого и поседел.

Долго молчали дипломаты. Гилян уже отдана на растерзание Надиру, а они более не хозяева в политике. Петербург свысока считает, что лучше Остермана никто не разбирается в делах восточных... Оттого-то Остерману – слово решающее, последнее!

– Давай-ка спать, Ванюшка, а завтра мне аудиенц...

...

«Аудиенц...» Надир просто издевался над послом русским:

– Когда я иду на войну, так я сам иду. А что у вас царица такая лентяйка, всегда дома сидит? Пускай и она на войну идет... Будем мы с ней воевать честно: кто что у соседей своих захватит, то пусть и принадлежит победителю...

Конечно, от разбойника с большой дороги ничего другого и не услышишь. Сергей Дмитриевич заговорил в ответ о тучах пленников и рабов, которых держат власти персидские, о племенах Кавказа, которых шайки Надира силком уводят в глубь Персии, расселяя в местах гиблых, налоги зверские платить заставляя. О горечи женщин славянских, в гаремах Персии изнывающих...

– Что ты мне, скакуну лихому, о соломе рассказываешь? – орал на князя Надир. – В бумагах твоих Анна пишет, что она «великая». Не вижу я величья ее, если Московия не может отдать мне Баку и Дербент! Великая ли ваша страна – Россия? Спрашивал я об этом мудрецов своих, они мне отвечали, что Московия – большая, но про величье ее в книгах мусульманских ничего не сказано...

– Она великая! – вытянулся в гневе Голицын.

– Зачем ты врешь мне? – хохотал пьяный Надир. – Вы, словно шакалы в труп осла, вцепились в эти города – Баку и Дербент... Или у вас своей земли не хватает? Довольно меня обманывать. Я заключу, назло вам, мир с турками, мы объединим наши армии, и завтра наши трубы протрубят в Москве... Меня аллах возвысил столь высоко, что я весь мир могу забрать под тень, падающую от меча моего... Скажи – ты посол полномочный или нет?

Голицын подтвердил. И чрезвычайность. И свои полномочия.

– Так где же мочь твоя чрезвычайная? Если не врешь, так своей волей прикажи отвести войска царицы прочь – за Терек их прогони обратно, чтобы я уже никогда не видел их в своих пределах...

«Гилянъ уже отдали на разбой и ужасы. Теперь Дербент отдай?» И князь – в злости – откланялся Надиру, который возлежал на диванах кверху животом, окруженный красивыми грузинскими мальчиками. А в углу шатра сидел придворный историк над раскрытой книгой, чтобы поведать в ней потомству о славных деяниях Надира, и Надир – тоже в злости – велел ему так:

– Излей с пера своего разума сладчайший сок моей мудрости. Запиши, что Надир (сын и внук своей сабли) отделал глупого посла Московии и тот уполз в нору, зализывая раны своей подлости!

Но Голицын главного от Надира добился: армия персов снова пошла под крепость Ганжу, занятую турками. Легкие на ногу, шагали бахтиары с толстыми затылками, раскачивая на ходу копья. С гиком неслись по холмам воинственные курды, а за ними – жены их, расставлявшие черные шатры в долинах над ручьями. В кольчугах двигались грузинские князья с узденями, хвастливые, порочные и пьяные. Дымчатые быки тащили старинные кулеврины, которые не имели прицелов, но зато стволы их были покрыты сусальным золотом. Бесколесные пушки тащились по песку на бревнах, заменявших им лафеты. Зато вот ядра были высечены из прекрасного мрамора. И отшлифованы столь тщательно, что адскому труду рабов могли бы позавидовать и зеркала Версаля! Эти ювелирные ядра в чадающем грохоте выскакивали из кулеврин. И навсегда пропадали на болотах, далеко в стороне от Ганжи (стрелять персы совсем не умели). Голицын понял, что Надир своими силами Ганжи никогда не возьмет, и велел прислать из Баку русских опытных бомбардиров. Когда они прибыли, посол передел их в халаты, научил носить чалму, а сбоку им привесили кривые сабли, чтобы турки не узнали об участии русских в осаде Ганжи.

Русская дипломатия делала все, чтобы строптивый Надир шагал в общей упряжке с Россией. Довольный помощью от России, этот разбойник, казалось, уже забыл про Баку и Дербент. Но в один из дней прискакал курьер из Петербурга. Пальцы Голицына тряслись, срывая печати с пакета. Хрустел сургуч, с треском развернулась бумага...

– Небось худо там? – робко спросил Калушкин.

– Остерман пишет нам, чтобы мы Баку с Дербентом отдали. Крепость Святого Креста велено разорить, а рубежи российские за Терек отодвинуть... аж до самого Кизляра!

– До Кизляра? Ну, все пропало...

– Нет, не *все*! – ожесточился Голицын. – России без Каспия не бывать... Коли не Анна, так потомки наши вернут сей край от разбойников. А племена кавказски напрасно рыпаются: им без России в мире не жить. Их тут, как баранов, станут свежевать все, кому не лень, ежели они от Москвы глаза отвратят. Уходим мы с кровью сердечной – вернемся мы с кровью бранной!..

Сергей Дмитриевич отъехал домой в рядах русской армии, надолго покидающей эти края. Последний раз прожурчал солдатам сладкий Аракс, проголубели воды суражские. Вот Баку пропал за горами, дымно чадя из скважин огнями петролеума. Вот и Дербент остался зеленеть в садах виноградных. Войска вступили, на север шествуя, уже в степи кумыкские. А следом за русской армией, которая без боя уходила по приказу Остермана, врывались орды

афшарские и курдинские. Грабя, бесчинствуя, насилуя. И каждой женщине разрезали сухожилия ноги правой: пусть всю жизнь хромает она теперь – в знак насилия, учиненного над ней в юности... Долго трещали в пожарах бастионы крепости Святого Креста, в огне погибало все, что закладывалось Петром Первым на века...

Остерману ведь ничего не жаль!

...

Ранней весной коляска Сергея Голицына вкатилась в уютную сень родового села Архангельского: оранжереи, колодцы, беседки, огороды, бабы, собаки, книги... Старый отец вышел на крыльцо.

– По кускам Россию-матку разрывать стали? – спросил сына.

– Не я, батюшка... не я виновен в том, что отдали Надиру.

Он снял перед отцом шляпу, поцеловал руку старого сенатора.

В звоне ручьев таяли снега, и пахло на Руси весной... Отец, повременив, сказал сыну:

– Ах, князь Сергей... сорок годков тебе всего, а как ты стар, как ты сед. Говорю тебе родственно: подале от престола держись, от Остермана подале. Ныне, по слухам, место губернаторское на Казани упалым стало... Просись на Казань!

– В эку глушь-то, батюшка?

– Укройся там, – отвечал отец. – Время ныне гибельное.

– А вы... как же вы, батюшка?

– Я свой век отжил, и смерть меня не страшит...

Возле бывшего верховника по-прежнему состоял Емельян Семенов – начитанный демократ из крепостных князя. Сейчас они совместно перечитывали «Принципы» итальянца Боккалини, который в сатирах своих никого не щадил – ни монархов, ни политиков, ни монахов, ни придворную сволочь. Книга Боккалини была насыщена жадным дыханием свободы, пропитана лютейшей ненавистью к тирании.

– Эту бы книжищу... да в народ бросить!

Странная и крепкая дружба была между маститым старцем олигархом и начитанным простолюдином-демократом. Книжку прочтя, они ее долго обсуждали и, аккуратно тряпочкой вытерев, кожу переплета промаслив, бережно на место ставили... Библиотека росла!

Глава пятая

Великая Северная экспедиция – честь ей и слава! – продолжала свою работу, и мореходы российские, вдали от разногласий двора и попыток застеночных, трудились честно и добросовестно на гигантских просторах России – от лесистой Печоры до вулканической Камчатки...

Много их было, этих героев, но среди всех прочих полюбили мы одного лейтенанта – Митеньку Овцына, красавца парня с бровями соболиными, с глазами жгучими... Где-то он сейчас пропадает?

...

Прошедший год был в тяжких трудах – рискованных. Даже бывалые казаки далее Тазовской губы пути на север не ведали, грозили экспедиции гибелью. Овцын велел своим людям, которые по берегу шли, до заморозу не жить в тундрах. А сам паруса «Тобола» воздел и шел на трескучий норд – шел, как слепой без поводья. Слепцы хоть палку имеют, дабы опасность нащупывать, у Овцына же одна надежда – на лот! Вот и бросали они лот в мрачную глубину, балластиной свинцовой грунт пробовали. Лотовая чушка салом свиным смазывалась – она как ударится о грунт, потом лот поднимут, а там – на сале – отпечатки: песок, галька, тина...

А вокруг, куда ни глянь, тоска смертная от природы суровой: излучины, острова, поймы, снег лежалый, там песцы бегают, хвостами метеля... Пусто. Ни души. Оторопь берет. Но – *или!*

– И не идти не можем, – говорил Митенька...

Выходцеву он велел маяки и знаки по берегам ставить. Тот, старик преславный, в геодезию, будто в бабу, влюбленный, не прекослова, по жутким трясинам лазал, выбирал места повыше – приметы ставил. У лейтенанта Овцына новый помощник объявился – бывший матрос Афоня Куров, который в это плавание уже за подштурмана шел. Борту дубель-шлюпа обдергались уже на камнях, словно их собаки злые изгрызли. В иных местах – по ватерлинии – дерево бортов острыми льдинами в щепки перетерло. Мачты от частых ударов корпуса корабля раскачались в гнездах своих... Однажды среди ночи Афанасий Куров разбудил рывком лейтенанта:

– Шуга пошла... дело худо! Упасемся ли? Не вмерзнем ли?

Овцын лежал на койке, сколоченной будто гроб тесный, а корабельная собачка Нюшка ноги ему грела. Митенька потрогал зуб во рту, шатавшийся, и легко встал. Исподнее за долгое плавание заковрижело. Сало, копоть, грязь – кой месяц уже не мылись. Бороду за отворот мундира сунул, подзортрубу со стола схватил, выскочил на верхний палуб.

– Ой, ой! – сказал, дивясь перемене; а вокруг шлюпа уже шипело, тихо шевелясь, белое сало шуги (еще день-два – и скует мороз Обь в панцирь, тогда всем им – гибель). – Буди команду, – велел Овцын кают-вахтерам, а сам ветер нюхал: откуда, думал, забирать его в паруса выгодней? – К повороту оверштаг! – скомандовал сердито. – По местам стоять...

Мучился: скует реку или не скует? Дубель-шлюп сильно укачивало на шипящем ледяном сале. Потом – бум! бум! бум! – стали они форштевнем на льдины напарываться. Иной раз удары по силе таковы были, что, казалось, мачты треснут.

И все же Митенька Овцын успел команду вытащить из пасти ночи полярной – ночи уже близкой, ночи ужасной, цинготной. «Тобол» вышел к Обдорскому зимовью, и тогда лейтенант повеселел.

– Якорь, – сказал, – кидай на всю длину каната...

Якорь плюхнулся в воду, а канат – щелк! – сразу перервало, трухлявый от сырости. Ну это уже не беда. Стоят на берегу избы добротные, для зимы заранее матросами строенные, и дрова лежат нарублены. Овцын был хозяином рачительным, вперед смотрящим...

– Други милые! – объявил он матросам. – Капустка сладчайшая да хрены едучие на Москве остались. Потому от болей скорбных, кои вгоняют человека в печаль, учеными еще не исследованную, определяю вам в пропитание супы еловые пополам с водкой...

И самолично проследил, как варил боцман в котлах корабельных хвою зеленую. Получался настой крепкий, будто деготь. Хлебнешь раз – и глаза на лоб лезут: горько! Но мудрость народная говорит ясно: горьким лечат, а сладким калечат. И было заведено Овцыным к неукоснительному исполнению: матрос водки не получит, пока лекарство то – от цинги – не примет внутрь пред обедом. Зато Митенька теперь был спокоен: команда не пропадет у него на зимовке. Мясо есть, избы теплые, дрова на ветерке просохли.

– А весной я вернусь, ребята, и опять поведем «Тобол» наш к норду – будем ломать ворота арктические...

В разлуку долгую целовались все под лай собак. Потом собаки налегли в тугие гужи, «самоедина» остол из-под нарт вырвал – и упряжка сразу побежала вдаль, мелькая лапами мохнатыми. Овцын упал на узкие нарты, махал товарищам рукавицей:

– Прощайте, братцы... до весны! Живите согласно...

...

И вот она, знаменитая столица стран полуночных, – Березов-городок, здравствуй! Где ты, Березов? Куда ты делся?.. Даже крыш твоих не видать, занесло окна и двери. Обыватели, словно кроты работающие, в снегу норы роют и по этим норам ходят по гостям семейно, с лучинами и шаньгами, при себе лопаты имея, чтобы из гостей обратно до дому добраться...

Березовский воевода Бобров встретил Овцына на въезде в город, рот у воеводы распялился в улыбке – от одного уха до другого.

– Ну, сударь! – облобызал он навигатора. – Слава богу, что возвратились. Хоть погуляем с вами. Все не так скушна зима будет. Да и государыня Катерина Лексеевна Долгорукая по вашей милости извелась...

– Неужто извелась?

– Ей-ей. Пытала меня уж не раз – скоро ль, мол, навигаторы окиян покинут да на стоянку зимнюю возвратятся?

– Окияна сей год опять не достигли, – понуро отвечал Овцын. – Мангазея древняя, куда предки наши свободно плавали из Европы, в веке осьмнадцатом затворена оказалась, будто заколдовал ее кто... За ласку же, воевода, спасибо тебе!

Первым делом наведалься Митенька в острог тюремный – к семейству князей Долгоруких, встретила его там Наташа с сыном, который подрос заметно, и заплакала малость.

– Хотя вы-то засветите окошки наши темные, острожные. Одна и радость нам осталась: человека доброго повидать.

Овцын спросил у Наташи – как князь Иван, пьет или бросил?

– Ах, пьет... Видать, неистребимо зло пьянственное.

А по вечернему небу перебежал вдруг кровавый сполох сияния северного. Замерещились в огнях пожары небесные, взрывы облачные. Потом природа нежно растворила над миром веер погасающих красок – словно павлин распушил свой хвост. Жутью веяло над острогом березовским...

– Наталья Борисовна, – вздохнул Овцын, – знали бы вы, сколь легки дни ваши здесь. Кабы ведали вы, сколь тяжелы дни питербургские. Может, ссылка-то ваша и есть спасение?..

Катка Долгорукая, как только о приезде Овцына прослышала, так и заметалась по комнатам. Из баночки румян поддела, втирала их в щеки, которые и без того пламенем пылали. Уголек из печи выхватила, еще горячий, и брови дугами широкими подвела. Телогрей пушной

охабнем на плечи кинула себе (вроде небрежно) и глаза долу опустила. Даже надменность свою презрела – сама к гостю навстречу вышла со словами:

– Дмитрий Леонтьич! У нас день сей хлеба пекли. Не угодно ль свежим угоститься? Тогда к столу нашему просим...

Вот сели они за стол, а между ними лег каравай хлебный. Помолчали, тихо радуясь оба, что тепло в покоях, пусть даже осторожных, что молоды, что красивы... Овцын протянул руку к ножу. Сжал его столь сильно, что побелела кожа на костяшках пальцев. И, каравай к мундиру прижав, взрезал его на крестьянский лад. Смотрела на него порушенная невеста покойного императора, и так ей вдруг ласк мужских захотелось. Из этих вот рук! Рук навигатора молодого...

– А из Тобольска-то пишут ли? – говорил, между прочим, Овцын. – Видать, депеш не прибыл еще. Докука да бездорожие... Чуете?

– Чую, – еле слышно отвечала княжна, а у самой слеза с длинных ресниц сорвалась и поехала по щеке, румяна размазывая.

Овцын послушал, как бесится метель за палисадом тюремным, и краюху теплого хлеба окунул щедро в солонку.

– Ну а книжки, княжна Лексеевна, читаете ли от скуки?

– Еще чего! Мы и на Москве-то от книжек бегали.

– Куда же бегали? – хмыкнул Овцын.

– А у нас забот было немало. По охотам с царем езживали, по лесам зверя травили... Опять же – балы! Мы очень занятые были!

– А-а... Ну, я до таких забав не охотник... По мне, так дом хорош тот, в коем книги сыщутся. У меня в дому родном полочка имеется. Я на нее книги собираю. Ныне вот, коли в Туруханск прорвусь на «Тоболе», дела по экспедиции сдам, жалованье получу... и Плутарха куплю себе! Читали?

– Слышала, что был такой сочинитель. Но... не девичье это дело Плутархами себе голову забивать. Вон Наташка у нас, та книгочейная... Раз иду, а она ревет, слезами обмывается. «Чего ревешь-то, дура?» – я ее спрашиваю. А она мне говорит: «Изнылась я тут... без книжек, без готовальни моей». Ну не дура ли?

И вдруг Катька горячо зашептала на ухо Овцыну:

– А едина книга в острогу нашем сыщется... Сколь уж раз из канцелярии Тайной сыщики наезживали, сколь добра от нас разного выгребли! Всё искали... на царя намеки, на мово суженного. Да книжицу ту заветную спасла я... Сейчас покажу ее по секрету!

И вынесла книжицу, что была в Киеве (при академии тамошней) печатана в 1730 году, а в книге описано подробно обручение Катькино с юным императором... Овцын повертел книжку в руках:

– Хотите, доброе дело для вас сделаю?

– На добро ваше и своим добром платить стану...

Овцын книжицу (на Руси ныне запретную) взял да в печку сунул. Порушенная тут завывала – в голос, а Митенька еще кочергой в печи помешал, чтобы огонь сожрал эту книжку поскорее.

– Не с того ли плачете, княжна? – спросил он Катьку.

– Не с того, сударь... Прошлого-то пуцай гиштория ворошит. А мне одни срам да тоска остались. Ох, мой миленькой! Чернобровенький-то ты какой... погибель моя! Да нешто не видишь, что изнылась я? Возлюби ты меня, сироту горемычную...

Дунуло за окнами, сыпануло по стеклам горохом снежным.

– Чего уж там скрываться мне! – сказала княжна Долгорукая. – Знай истину: люб ты мне... *люблю!*

И встала она рядом с ним, сама высоченная, копнища густых волос сверкала в потемках, вся жемчугами унизана.

– Ой, и стать же... До чего ты высока, княжна!

– А хочешь... Хочешь, я ниже тебя стану? Гляди... вот! Гляди, любимый мой: порушенная царица России на коленях пред тобою без стыда стоит... пред лейтенантиком!

Чего угодно ожидал Овцын, только не этого. Поднял он ее с колен вовремя. Двери разлетелись, и ввалился хмельной князь Иван Долгорукий с глазами красными от пьянства.

– А-а-а, – заорал с порога, – вот ты где, Митька... с Каткой! Ты этой паскуды бойся, – говорил он серьезно. – Я брат ей родной, от одной титки с нею вскормлен, а стервы такой еще поискать надобно... Она и себя и всех нас под монастырь или под топор подведет, верь мне, Митька!

Овцын ушел. Бухнула за ним дверь острожная, промерзлая, окованная железом. «Лучше уж, – думалось ему, – с казачкой здешней любиться». И со всей страстью зарылся Митенька в дела экспедиционные, дела самые сердечные. Заранее все делал, чтобы на этот раз окияна Ледовитого достичь. На дворе лейтенанта с утра до вечера народ местный толочся. Митенька всех выпрашивал – кто ведает древний путь кочей хлебных на Туруханск? И все записывал... Был он счастлив в службе своей и Афанасию Курову говорил:

– Моей особе, как никому, повезло. Я здесь сам себе голова, что хочу, то и делаю... Сам себе начальник!

...

Но женской нежности Овцыну никак было не избежать. Посредь зимы, отвернув к стене надменное лицо свое, отдалась ему невеста царская – Катерина Долгорукая, роду знатного, древнебоярского... Отдалась ему без стыда, не по-девичьи, а со всем пылом женщины, уставшей ждать. С тех пор у них и повелось: любились они ночами острожными, и караульные про то знали. Но – молчали, ссыльных жалеючи, а Овцына уважаючи. Воевода же Бобров был мужик понятливый и доброжелательный, он сам той любви потакал.

– Кровь молодая, – рассуждал. – Она играет, и вы играйте... В эдаком-то раю, каков наш, иного путного дела и не придумаешь!

И куда бы теперь ни пошел Овцын, всюду Катка за ним тянулась. Он к атаману Яшке Лихачеву с инструкцией о розыске пути – она тоже придет и ту инструкцию от начала до конца прослушает, ни бельмеса не поняв в ней. А то, бывало, возьмет Овцын брата ее, князя Ивана, и ударится во все тяжкие для гульбы – к подъячему Осипу Тишину, а княжна – за ним притащится. Сядет на лавке в уголке избы, посматривает оттуда, блестя глазами, как пьет вино чернобровый сладкий любовник...

Осип Тишин как-то сказал ей, сильно охмеленный:

– Княжна, почто ты меня не поцелуешь? Нешто гордыню свою не переломишь? Лейтенанта, значит, целовать можно. А меня, выходит, и не надобно?

Овцын крепко (во весь мах) треснул подъячего в скулу:

– Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами... Понял?

– Вразумил ты меня, лейтенант... Я многое понимаю!

Так текли дни в Березове – на одном из концов Сибири.

Здесь пока все было в полном порядке.

Глава шестая

Иначе текли дни в Нерчинске – на другом конце Сибири, и здесь испокон веку не все было в порядке... Владыкой здесь служил рьяный патриот – Алексей Петрович Жолобов.

Сегодня с утра раннего был он в настроении недобром. Свинцово-серебряный завод Нерчинский (единный на всю восточную Сибирь) из Петербурга прикрыть хотели. А – почему?... Да потому, что пока свинец из Нерчинска везут, он с каждой верстой дорожать начинает. И чем ближе к Москве – тем дороже свинец становится. Это же понятно: сама дорога обходится недешево! И когда свинец доедет от рудников до Москвы, то цена ему за один пуд – 2 рубля 71 копейка. Иноземный же свинец завозят в Россию из Европы по иной цене – в 1 рубль и 10 копеек за пуд...

– Неужто не понять дикарям столичным, – бранился Жолобов, – что Европа-то, задержись она, намного ближе к Москве, нежели Нерчинск... Но Нерчинск-то – *наш* город, и свинец тут нашенький! Русскому свинцу и предпочтение отдать надобно...

Секретарю канцеляции своей Жолобов в лоб плюнул:

– Иди, иди отседова. Видеть рожи твоей не могу. И просителей до меня не допускай. Я ныне злой и кого хошь палкой прибью...

Только он так распорядился, как двери – настежь:

– Слово и дело! Губернатор, клади шпагу свою на стол...

Секретарь в калачик свернулся, юркнул вбок, только хвост его и видели. А Жолобов кулаками двумя об стол трахнул и сказал:

– А ну! Коли такие смелые, так повторите...

Три офицера в дверях повторили приказ об его аресте.

Жолобов ботфортом треснул в окошко, чтобы в тайгу выскочить. Но его сзади схватили. Тогда он стол перед собою обрушил, тем самым офицеров напугав. А сам – шпагу успел достать.

– Слово и дело вам легко кричать. Но я не дамся!

Скрестились клинки. Три против одного. Лязг, дзень, зинь...

Алексей Петрович уже немолод, но одного офицера шпагой своей так и всунул за печку... Брызнула кровь!

– Не вкусно? – рычал Жолобов, сражаясь умело рукою сильной. – А ты меня добудь в бою... добудь... добудь!

Блеско и тонко звенели клинки. Кого-то еще рубанул сплеча.

Длинною полосой тянулась кровь вдоль половицы грязной...

Зверея от крови, насмерть бился неустрашимый губернатор нерчинский – патриот и рачитель о нуждах отечественных:

– Сопляки ишо! Я и не таких груздей с пенька сшибал... На!

И точной эскападой он отбил второго офицера.

– Убью! – посулил третьему и последнему...

И убил бы (он таков). Но тут на крики раненых сбежались солдаты. В грудь губернатора частоколом уперлись ржавые багинеты, и тогда Жолобов понял, что не уйти.

Тычком вонзил он шпагу в лужу крови на полу.

– Ваша взяла... – сказал, сипло дыша.

Жолобова связали, и солдаты его на себя, будто бревно, взвалили. Столбиком, ногами вперед, через двери губернатора пронесли. И на улице в санки бросили. Прощай, прощай, славный град Нерчинск! Прости меня и ты, страна Даурия... увозят меня далеко, за делом нехорошим по «слову и делу» государеву.

– Прощай, каторга моя! – кричал губернатор из санок.

– Прости и нас, Петрович! – отвечали ему каторжные...

Долго везли его спеленатым. И доставили в Екатеринбург.

Увидел он над собой Татищева – генерал-бергмейстера.

– А-а, Василь Никитич, мурло твое хамское! – сказал ему Жолобов. – Я-то, старый дурак, думал, что граф Бирен меня забирает. А вышло, что по шее моей природный боярин плачется... Иди ко мне, Никитич... нагнись ближе: я тебе тайное из тайных объявлю.

Татищев нагнулся над ним, а Жолобов его зубами за ухо рванул. Стали его тут бить. И били, пока он не затих. Даже дергаться перестал...

– В узилище его! – велел Татищев. – Да от Егорки Столетова подальше, чтобы не снюхались... Будем вести розыск исправно!

Ночью в камору к Жолобову кто-то проник тихой мышкой:

– Алексей Петрович, это я... узнаешь ли с голоса?

– Не! Назовись, кто ты?

– Хрущов, Андрей Федоров я... экипажмейстер флотский, а ныне при горных заводах состою. Помнишь ли ты меня по Питеру?

– Ну здравствуй, Андрюшка... Ты чего явился?

– Помочь тебе желаю.

– Помоги... Эвон цепь на мне. Сумеешь выдернуть?

Хрущов в потемках нащупал тяжкую цепь:

– Нет, не могу. Татищев – зверь, спасайся от него. Может, повезет тебе, так в Питерсбург отвезут.

– Чудак ты, Андрюшка: у меня в столице иной враг – Бирен!

– Однако там и друзья сыщутся... хотя бы Волынский.

– Брось пустое молоть, – отвечал Жолобов, ворочаясь на соломе и цепью громыхая. – Волынский такой же погубитель, как и все. Мы себя ценить не умеем. И не приучены к этому. Эвон немцы! Задень одного – десяток сбежится, и тебя заключут. А у нас так: бей своих, чтобы чужие пугались...

Татищев уже вовсю трепал Столетова.

– Чего ради, – вопрошал строго, – в день тезоименитства государыни нашей матушки Анны Иоанновны ты в церкви не бывал?

– Пьян был, – винулся Егорка.

Татищев наступал на поэта неумолимо, как рок, предварительно как следует материалы к следствию изучив и подготовив.

– Еще пункт! Когда ездил ты вино пить к крестьянину Ваньке Патрину, были там подьячие Ковригин да Сургутский, обще с комиссаром Бурцевым, и ты при всех власть божью лалял похабно и кричал зазорно, что, мол, время ныне худое настало, все от двора императрицы обижены пребывают, а боле всех винил графа Бирена. Вот теперь ты и скажи нам: кто тебе давал право людей, выше тебя стоящих, хулить?

– Прав своих от рожденья не ведаю, – отвечал на это поэт...

Егорка Столетов героем не был: всех, кого знал, попутал в оговорах сбивчивых. Длинной килой потянулся перед Татищевым список его знакомцев, пьяниц-сопитух, сородичей, друзей и прочего люда. Даже сестру родную, Марфу Нестерову, оговорил. Татищев тут же писал в Петербург, что мужа Марфы, мундшенка Нестерова, следует от вина царицы отставить, ибо... опасен!!!

Егорка просил, чтобы ему бумаги и чернил дали.

– На што тебе? – спросил Татищев. – Стихи писать?

– Буду проект писать. О торговле с китайцами. Я все продумал. Государыня от меня, ежели не казнит, будет доходу иметь в сто тыщ ежегодно. Дозвольте проектец выгодный сочинить?..

...

Стихи он писать умел, а вот на проекты оказался головою слаб. Наплел разной чепухи от страха, будто надобно табак продавать листами, не кроша их, а лошадей из Европы гнать прямо в Пекин и там продавать... Татищев от такой «изобретательности» поэта даже затосковал. Скоро пытошные избы были отстроены. Теперь от «слова» можно было к «делу» переходить: от допросов – к пыткам! Егорка Столетов трясся в ужасе пред будущим, и Татищев трясучку его приметил. А потому священнику, который перед пытками собирался Столетова исповедовать, он наказал:

– Что наговорит пред богом – ты мне донеси словесно.

Поп даже на колени упал:

– Не могу! Тайна исповеди пред богом сущим нерушима...

Татищев ботфортом ему все лицо в кровь разбил:

– Я тебе здесь и Синод, и владыка, и бог твой!

Столетов на «виске» пробыл всего полчаса. За это время было дано ему сорок ударов. Из воплей поэта запечатлелись признания откровенные и ужасающие... Вот что выкрикивал Егорка:

«...фельдмаршал Долгорукий – главная матка бунта...»

«...а Ванька Балакирев цесаревну Лизку в царицы прочит...»

«...Елагин много говаривал: мол, все цари передохнут...»

«...у присяги я тоже не бывал – с презлобства...»

«...Елизавета сказывала: народ наш душу чертям продал...»

«...Михайла Белосельский с Дикою герцогиней плотски жил...»

«...царица сама дивилась, что народ покорен и бунта нет...»

«...газетеры в Европе скорую революцию нам пророчат...»

Изрыгнув с дыбы эти крамольные признания, Егорка взмолился:

– Ой, снимите меня... сил не стало... помираю!

...

Страшен был для Егорки Татищев. Но еще страшнее казался теперь Егорка самому Татищеву, который и не гадал, что дело это потянет столько имен, уйдет корнями в глубь императорской фамилии – с ее извечными сварами и раздорами из-за престолонаследия. Не только цесаревну Елизавету помянул Егорка в допросах, как претендентку на престол русский. Всплыло имя и «кильского ребенка», принца Голштинского, рожденного от Анны Петровны, дочери Петра I, и тоже имеющего права на престол... Татищев все больше погрязал в сыске и сам пугался. С допросов людей во всей яви проступала незаконность пребывания Анны Иоанновны на престоле, – Елизавета, вот кому сидеть надо на троне!

Татищев сам на себя беду накликал. Его ли это дело – людей пытать? Его дело – заводы строить, руды изыскивать. А он вместо этого столь загорелся инквизицией, что только огнем пытошным и дышал. Грозный Ушаков в столице не терпел, чтобы у него хлеб родной отнимали. Ушаков в Екатеринбург такое письмо прислал, что Татищев в тот же день избу для пыток ломать стал. Узников всех срочно в Тайную розыскных дел канцелярию отправил...

Жолобов на допросах, сколько его ни пытали, ничего не сказал. Зато на прощание он перед Татищевым высказался:

– Жаль, что я ранее такую гниду, как ты, не зашиб в лесу темном. Я тля махонька, есть пошире меня телята... Не думай, что своим боярством спасешься. Не рой могилу другим – сам в эту яму свалишься!

– Ах, Петрович, Петрович, – укорил его Татищев, – хоть бы в разлуку вечную ты мне словечко сказал хорошее...

– Пожалуйста! Чтоб ты сдох, собака паршивая. Бояр давить надо, от них Руси плохо... Не спасешься ты, других погубивая. Погоди, и тебя затравят. Вот на том свете мы тогда встретимся и рассчитаемся за все сразу – головешками с искрами да смолой кипящей...

Увезли их всех. Кляпы в рот забили, чтобы не болтали лишку, и увезли – к Ушакову. Татищев опять за горные дела взялся. Думал он, как бы поскорее гору железную Благодать для нужд российских освоить... Василий Никитич был велик и благороден как муж ученый, когда науками и промыслами занимался. И был он последним негодяем, когда, от наук отвратясь, желал двору услужить в целях рабских, холуйских, для себя выгодных...

Татищев сейчас частных горнозаводчиков трепал без жалости: требовал от них, чтобы дороги в Сибири строили, на реках пристани ставили. Особенно Демидовым от него доставалось. Татищев у них весь Алтай в казну отбирал. Никитич на химических опытах научно доказал, что в руде алтайской немало серебра имеется, и то серебро Демидовы от государства утаивали. Они, хитроумцы, так делали: на Колыванском заводе руду сплавляли в «роштейнт» (получалась черная медь), а для выделения серебра отвозили сплав на завод Тагильский. Там, на Тагиле, у них были печи для рафинирования меди. И там – по слухам! – они *свою* монету тайно чеканили. Поймать их никак нельзя. Как только досмотрщики приедут, они мастерскую вместе с рабочими водой из озера затопляют. Уедет ревизия – воду откачают, мертвецов вынут, и опять пошли монету шлепать...

На Благодати уже закладывались первые домны, первые лопаты железняка уже были сброшены с горы вниз, когда на Урал прибыл изящный саксонец Курт фон Шемберг:

– Меня прислал граф Бирен.

...

Бирен с нетерпением ждал гонца из Екатеринбурга, и вот он наконец прибыл. Шемберг в письме сообщал его сиятельству, что отныне граф Бирен станет самым богатым человеком в Европе и никто уже не сможет сравниться с его финансовым могуществом, ибо источник богатства неисчерпаем... Обер-камергер усмехнулся:

– Тругти-фругти... Где же оно, это богатство?

Гонец снял со своей спины торбу, бросил ее на стол перед графом. В мешке что-то тяжело стукнулось. Бирен шагнул к столу, и тут случилось чудо. Шпага графа – сама по себе! – задралась из-под кафтана, стала тянуться лезвием своим к мешку. Чернильный прибор поехал по столу, будто живой, и тоже прилип к мешку.

Пальцы Бирена, усеянные престнями, знобко дрожали.

– Что это? – воскликнул он в недоумении.

В мешке с Урала лежали куски породы магнитного железняка.

– И много, – спросил граф, – у меня такого чуда?

– Целая гора по названью Благодать...

– Боже! Где же я достану денег, чтобы купить ее?

Анна Иоанновна велела деньги для графа из казны отсчитать.

– Разбогатеешь – отдашь, – сказала она фавориту...

Напрасно из Сибири доносился ропот Татищева.

– Сообщите этому воришке, – разгневался Бирен, – что длины моих рук вполне хватит, дабы с берегов Невы дотянуться до его глотки в Сибири...

Бирен теперь раскинулся широко – мимо него ничто не проходило. Татищев сочинил «Горный устав», и устав этот попал к Бирену. Граф его не утвердил, чтобы Татищеву тошно стало...

– Вообще-то русских очень много, но они слабая нация, – сказал Бирен фактору Либману. – Их можно разбивать поодиночке в полной уверенности, что, пока бьешь одного, другие не вступятся на его защиту... Они, как бараны, ждут своей очереди!

За будущее Бирен теперь был спокоен: по подсчетам Шемберга, гора Благодать обеспечит потомство графа вплоть до десятого колена. Можно жить, ни о чем не думая, если есть такая Анна, которая в переводе с греческого означает – благодать!..

Глава седьмая

Ночь была над Уфой – перепрелая, душная. Окно в избе перед сном открыли. Хорошо и вкусно пахло от казачьих хлебов навозцем. Кирилов лежал на полотах с женой, добротной супружницей своей, на печи примостился сынок их – Петенька.

– Батюшка, – спросила жена, – почто не спишь, а маешься?

– Ульяны Петровны, – отвечал ей Кирилов, – мне сегодня от ханов степных взятка была предложена.

– Много ль? – оживилась жена, светлея лицом в потемках.

– А такая, что и на возу не увезем...

– За што ж тебе, батюшка, милость така от ханов выпала?

– А за то, мать моя, чтобы я город Оренбург в месте намеченном не фундовал. И вот я не сплю, размышляя. Коли ханам степным Оренбург на сем месте неудобен кажется, знать, именно там город ставить и надобно для пользы русской... А теперь – спи!

...

После молебна тронулись. Пятнадцать маршевых рот взяли шаг. В разливы трав поскакали казаки, мещеряки и башкиры.

Кирилов шел в поход, окруженный купцами индийскими и ташкентскими. Ботаник Гейнцельман в котомку травы редкие собирал; ведал он историю древнюю, географию мира, геральдику, юриспруденцию – собеседник занятный. А живописец Джон Кассель умудрялся из седла шаткого виды разные в альбом зарисовывать.

От рудознатцев Кирилов получал известия радостные:

– Нашли соль и яшму... медь и порфир... серебро, мрамор!

Кирилов, словно кот на сметану, глаза в удовольствии жмурил: «Бывать России-красавице увешанной камнями драгоценными!» Мамет Тевкелев, мурза в чине полковничьем, скакуна шпорами истерзал, холмы обскакивая. Ногайкой – вразлет – убивал лис и зайцев безжалостно. Вечером караван экспедиции нагнал казак яицкий – иссечен саблями, мотало его в седле, как пьяного, борода вся в крови.

– Башкирцы напали! – орал. – Людей побили, возы пограбили!

Побитых захоронили, а возы с припасами так и сгнули в степи. Ночью, сидя у костерка, Кирилов отписывал в Петербург, чтобы там не пугались. Зло башкирское он пригладил, сколько мог, для выгод будущих. А то ведь (он знал) в столице народишко трусоват: велят оглобли ему обратно ворочать, тогда – прощай всё... Ехали далее. Иногда наведывались к нему послы башкирские и киргизские. Просили города не строить, иначе бунт учинен будет. И запели над головами первые стрелы пернатые, запылали по холмам костры сигнальные – враждебные. По ночам кто-то, тяжкий реющий, словно демон, проскакивал мимо лагеря, сгнув стремительно – в топоте, в вое, в ржанье...

– Не бойсь! – говорил Кирилов. – Напужать нас желают.

Провиант кончился. Шли голодные. На ночевках окружали себя кострами, вглядываясь во тьму. Одни лишь казаки, ко всему привычные, сигали во мрак и возвращались под утро с бурдюками, полными башкирской бузы – пьяной и резкой; подвыпив, казаки беззлобно «бузили». В лесах почасту встречали бортников; боясь множества всадников, они быстро, как белки, залезали на деревья, скрываясь в густой листве, где тяжело и медвяно гудели пчелиные дупла. Иногда же отряд вступал на обширные луговые поляны, а там, в зное сладком, томились среди душистых трав долбленные колоды ульев; старики и пасечники в белых рубахах (очень

похожие на русских) пластали ножами зыбкий и яркий мед. Кирилов не обижал людей промышленных, всех бортников и пасечников одаривал от души.

Достигли яма Стерлитамакского: сельцо убогонькое, но зато на диво живописно глядится в речные заводи, – от Стерлитамака уже повеяло жаром степным. Из пещерных дыр рвался воздух – то горячий, то лдяный. Ржали кони, гарцуя в робости. За сосновыми перелесками плеснуло в глаза путникам зернь-песками, черными буграми распухали под ветром кочевые юрты. Когда же подошли ближе – ни юрт, ни кочевников: снялись все разом и ушли стремглав, пришельцев с севера убоясь... В последний раз брызнуло ярким цветом из зелени, и потекла навстречу песчаная желть.

А в этой желти блеснули воды Орские – конец пути.

Кирилов устало свалился из седла на землю. Шагнул к реке, камыши раздвигая. До чего же быстро текли воды! Виднелось дно чистенькое. На глубине, будто острые мечи, зигзагами метались темные рыбины. Нагнулся статский советник и зачерпнул воды ладонью, опробуя ее. Орская вода имела привкус горечи, едва внятной. Но пить ее можно!

– Компанент разбить тута, – повелел Кирилов. – Оренбургу стоять на сем месте. И с нею более никуда не стронемся...

Дикие тарпаны мчались, еще не ведая узды человека, прямо через лагерь. Били копытом людей, и кроваво светился их глаз... Крепость закладывали в девять бастионов, а при них – цитадель малая. Избы приказные. Изба пробирная, где руды химически изучать. Гарнизон и артиллерия вошли в крепость Оренбурга, как входят в дом, чинно и благолепно. Трижды, уставясь в марево южных стран, лупанули в небо из пушек (безъядерно), салютуя новому русскому городу, – городу в *Новой России*!

Из-за гор уже понаехали богатые башкиры и киргизы, понаставили вокруг кибиток, долго издали присматривались они к быту крепости. Явились до Кирилова и, низко кланяясь, благодарили за постройку города.

– Теперь, – говорили ханы Кирилову, – ты уходи отсюда, здесь мы жить станем. А царице поклон скажи... молодец баба-царь!

Кирилов на это ханам так отвечал:

- Не за тем пришли, чтобы, город основав, уйти.
- Тогда с четырех дорог войною пойдем... Це-це-це!
- Я с миром прибыл сюда. Вместе с вами в мире жить будем.
- За миром с пушкой не ходят. А ты пушку привез...
- Пушка зверь такой: ты ее не дразни, и она тебя не тронет.

О просвещении и благополучии края радея, Кирилов надеялся, что и помощники ему таковы же станут. Однако не так: толмач-полковник Мамет Тевкелев, живя побытом грабительским, хватал старейшин башкирских. Кирилов ласкою привлекал калмыков, киргизов и башкир: зазовет к себе, угощает и слова не скажет, когда старейшины со стола его все ложки, тарелки и бутылки с собой унесут. Чего с них взять-то? Посуда – дело наживное, тарелки с вилками – тьфу! Они ведь не дороже Новой России. Но великая трагедия жизни для Кирилова уже определилась...

– Гей, гей, гей! – прокричала в Петербурге царица, трижды хлопнув в ладоши. – Человек мне потребен бывалый, крови людской не боящийся, дабы башкирцев усмирить... Кто годен?

...

Александр Иванович Румянцев – после того как доказал императрице, что финансов в России отродясь не бывало, – прозябал в казанских деревнишках (в ссылке). Хорошо хоть, что из-под топора выскочил. Ходил он теперь в зипуне, отрастил бородину. Косил с мужиками сено, в церквушке бедной подпевал причту баском генеральским... Было ему невесело.

С женою не имел доброй жизни – от распутства ее позорного, а сын Румянцева – Петр¹ вдали от отца созревал. И часто глядел опальный генерал на дорогу, что терялась за лесами, а за лесами – Казань. Оттуда, из-за леса, можно было всякого ждать. Норов царицы тягостен и подозрителен: могут потихоньку удавить и в деревне!

Утром генерала разбудили – кто-то скачет со стороны леса.

Встал. Молитву скорую сотворил. Чарку водки принял «стомаху ради». Примчался курьер, и Румянцев его принял в избе.

– Откель? – спросил, весь в суровости озлобленной.

– От матушки-осударыни ея величества Анны кроткия.

– Та-а-ак, – задумался Румянцев и шомполом коротким туго забил в пистолет пулю; оружие возле локтя придержал, а пакет от царицы принял. – Разумение мое таково, – сказал. – Коли из столицы меня для худого ищут, так я вот... сразу же пулю в лоб себе запускаю. Ну а коли милость... что ж, еще послужу!

Анна Иоанновна сообщала указ сенатский: ехать ему в земли Башкирские, порядок в тех краях навесть, башкир и киргизов отечески вразумлять, но, коли в разуме не явятся, тогда поступать прежестoko, крови не бояся... Румянцев слуг позвал:

– Стриги бороду мне под корень... Бриться! Баню топить. Мундир давай. Лошадей закладывай. Еду!..

Дорога дальняя, и, пока он ехал, Кирилов времени даром не терял. И другим житья спокойного не давал. У него в экспедиции все трудились. Геодезисты край исходили, по картам его разнося; плавали по рекам, пристани намечая. Уже готовилась первая карта земель Башкирских, а карта – суть основа всего. Виделись уже в будущем заводы великие, рудники медные и шахты разные. Гейнцельман открывал не виданные на Руси травы, копал древние курганы и могильники; живописец Джон Кассель (человек по молодости азартный) в такую глушь забирался, где с него, с живого, чуть шкуру однажды не спустили. А другом верным Кирилову стал бухгалтер – Петр Рычков, безвестный паренек из Вологды, где набрался ума-разума от пленных шведов, и был Рычков до всего жаден, до всего охоч.

– Запоминай, Петруша, что дееся, – советовал ему Кирилов. – Может, на старости лет, когда меня не будет, сядешь историю писать оренбургскую... От этой крепостцы Россия и дале пойдет, приводя народы здешние к повиновению. От Оренбурга нашего уже сейчас надо бы идти дальше... до Ташкента! до Туркестана!

А бунтующие орды уже осаждали Мензелинск, многие города разорили; в Уфимском воеводстве пожгли и пограбили деревни мещеряков и тех башкир, которые бунтовать противу России не желали. Под осень Кирилов выступил с отрядом из Оренбурга на Уфу, и по дороге им пришлось биться насмерть, чтобы живыми выбраться. В тучах пыли оседали кони, ржали прямо в лицо, и под пулями солдат, рея халатами, тупо бились головами в землю башкирские всадники... До Уфы он прошел, но каково-то теперь гарнизону зимовать в Оренбурге? Да, хорошо было мечтать над картами в кабинетах петербургских, и совсем не то получалось, когда ландкарта обрела суть лицезрения и ощущалась под ногами как земля Новой России... Книжки, атласы, глобусы и астролябии – все это осталось валяться в обозах, а перед наукою привозною пошли в авангарде пушки, конница и пехота. Татищев донимал его доносами, вредил посильно, а тут и без того сердце болело...

Опять пошла горлом кровь!

Румянцев прибыл в Мензелинск и застрял там надолго. На постоялом дворе ел кашу со шкварками, глядел на всех подозрительно. Кирилов при свидании с генералом признался:

¹ Будущий знаменитый полководец – граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796). (Здесь и далее прим. автора.)

– Ой, и горько же мне: не успев обрести, уже кровью обретенное обмываем... Александр Иванныч, ты жалость к людям имей!

Румянцев очень не любил, когда его учат.

– Велено мне тебя под своим началом иметь, – сказал он и письмо Анны Иоанновны показал Кирилову. – В мои воинские дела ты не лезь. Ты вот в обозе своем врачевателя зубов для башкир притащил. А я твоим башкирам последние зубы выбью! Государыня ко мне ныне опять милостива...

Румянцев был жесток – восстание топил в крови. Через холмы переползали пушки, и гром их разрушал последние мирные надежды.

Кирилов, в коляску залезая, сказал Рычкову:

– Едем, счетовод мой... в Петербург! Жаловаться стану...

Бухгалтер отвез его к семье – в Самару. Ульяна Петровна, мужа завидев, руками всплеснула:

– Батька ты мой! Да, никак, убили тебя?

– Не, мать. Дай отлежаться. Ничего не сказывай мне...

Кирилова провели в дом, он пластом лег на лавку. Почтительный Рычков отирал с его лица чахоточный пот.

– Памятников себе не жду, – заговорил Кирилов. – Но вот подохну когда, останется после меня край великий, край богатейший... России старой – Россия новая!

– Да кому нужна эта сушь да жарынь дикая? – причитала жена. – Бросим все, Ванюшка, уедем... В садах-то на родине небось уже малина – во такая! Крыжовник хорош... Пожалей ты меня!

– Ду-ура, – отвечал ей Кирилов с надрывом. – Ты видишь только то, что сверху земли. А я под землю гляжу.

– Вот и закопают тебя... под землю-то! А обо мне-то подумал? Как я без тебя жить стану?

...

Летом этого года необозримая туча пыли, поднятой тысячами конских копыт, закрыла небо на юге России, и над степями Украины словно померкло солнце. Жутко стало... Это повалила напролом – через владенья русские! – крымская конница хана Каплан-Гирея.

Крымчаки шли на Кавказ лавиной, чтобы помочь султану Турции в его борьбе с персидским шахом Надиром. Законов для татар не существовало: конница хана топтала русские земли, татары безжалостно убивали и грабили всех встречных. Галдящие рынки Кафы и Бахчисарая снова наполнились толпами русских мужиков и баб, девок и детишек, которых татары быстро расторговали по миру...

– Матушка, – подсказал Остерман императрице, – вот тебе и повод к войне, дабы наказать дерзких.

– Миних того и ждет. На сей же год поход свершим. Башкирский бунт некстати случился. А в год следующий учнем Крым воевать...

Звезда Марса разгоралась над Россией все ярче и ярче.

Глава восьмая

Все семейство Левенвольде – отравители; в роду их издревле знают секреты старинных ядов. Левенвольде могут убить соперника незаметно – ядом медленным, вводящим в слабость плотскую или в безумие. Из рода в род они передают фамильные перстни, которым позавидовали бы и Борджиа... Из перстней тех можно просыпать яд в бокал, можно слегка уколоть или оцарапать врага, отчего он умрет неизбежно и таинственно.

Но вот Густав Левенвольде, заболев проказой, сам отравил себя, и эта смерть освободила многих... Стала свободна его жена, которая теперь будет любить другого. Он развязал руки Миниху, которого люто ненавидел, и теперь фельдмаршал избавился от своего злейшего врага. Левенвольде освободил и графа Бирена, который уже не станет терпеть соперника в делах альковных с императрицей – делах сердечных, ночных и тайных.

Но больше всех радовался смерти Левенвольде вельможа Артемий Петрович Волынский. Надеялся он занять его место при дворе – стать обер-шалмейстером, чтобы лошадами царскими ведать. Но чин этот передали врагу его – князю Куракину, вечно пьяному. Волынского императрица утешила рангом обер-егермейстера, дабы он охотами ведал... «Ну что ж! Куракина надо раздавить!»

Еще в начале лета он получил от двора пакет с приглашением к театру. Из пакета выпал «перечень», который Волынский внимательно перечел, чтобы, на театр являсь, дураком перед другими не казаться и содержание пьесы заранее назубок знать:

«ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕЯ ИНЪ ТЕРМЕДИИ»

Лауринда, молодая девица доброй породы, хотя вытти за мужъ за богатого молодца, сама будучи убога, намеряется то учинить с посадскимъ человеком... Видимо то имеетъ быть, какъ она в томъ поступала... Протчее все – критика (то есть охулка) характеровъ, которая имели любовники опытни».

Волынский кликнул своего дворецкого Кубанца:

– Кафтан мне бархата лилового... парик присыпь погуще. Перчатки, шпагу, трость... Лошадей закладывать!

...

Для действия комедиантского была строена зала деревянная. По стенкам, вдоль залы, стояли недоросли из Кадетского корпуса. Императрица из буфета своего жаловала их напитками, «к прохлаждению служащими». Офицеров она к руке допускала; они за ее здоровье вкушали по бутылке вина виноградного и кричали «виват». Солдат же, охранявших Летний сад от простого народа, поили от казны пивом и водкой «в довольство». Пока вельможи собирались в театр, итальянцы из-за кулис на все лады Анну Иоанновну восхваляли. Прелюдия сия называлась «соревнованием благодравия».

Волынского в театре Иогашка Эйхлер повстречал, шепнул:

– Ягужинский, кажись, из Берлина скоро заявится. Ой, Петрович, гляди, как бы греха опять не было: генерал-прокурор горяч. Да и ты не холоден – сшибут вас лбами!

Настроение у Волынского испортилось: друзей мало, а с приездом Пашки из Берлина врагов прибавится. Тут к Летнему саду еще одна карета подкатила. Но куда как пышнее кареты Волынского, вся позлащена, а спицы колес из чистого серебра. Выперся оттуда сморчок какой-то, весь в шелках, с лицом брюзги и обжоры. Пошагал среди вельмож, никому не кланяясь.

– Кто невежа сей? – спросил Волынский у Иогашки.

– Это кастрат Дреер, певун славный.

– Вот я палкой его! Почто наперед меня лезет?

– Сей каплун тыщу двести рублей берет из казны за арии...

Волынского даже замутило. У него в имениях 1600 крепостных мужиков, а он с них, сколь ни тужится, 400 рублей в год содрать не может... И такие деньги летят на арии кастрата!

– Каплунов всяких, – сказал обидчиво, – терплю только на столе своем, чтобы под соусом в сухарях подавали...

Летний дворец был иллюминирован, светился – как китайский фонарь, весь в гуще боскетов еловых. Дворец-то деревянный, но выкрашен под мрамор и оттого издали великолепен казался. Еще недавно здесь Нева плескалась, но берег – стараниями Еропкина и Миниха – забутили. Еропкин тоже был здесь, прохаживался под руку с адмиралом Соймоновым, который волком глядел в сторону Волынского... «Еще один враг! И рядом с другом», – мрачно размышлял Волынский. А из грота, выложенного туфом, звенели фонтаны. В водяных струях, лампами подсвеченных, сверкали заморские раковины. Толченное стекло, закрепленное в сводах, вспыхивало подобно бриллиантам. На морских конях куда-то по своим делам ехал Нептун с трезубцем; позолоченный живот Нептуна с толстым пупком обмывали невские воды. Вдоль парапета выстроились, как солдаты, «гении нужные» – Флоры, Мореплавания, Архитектуры, Фортуны и Терпсихоры. С птичьего двора кричали птицы диковинные, из-под куполов галерей тучами вырывались голуби... Таков был сад Летний при Анне Иоанновне.

Между тем девки неаполитанские и флоренские (любимицы Рейнгольда Левенвольде) пели неистово. Котурны их гремели, под потолки сыпались трели. Вторили девкам нездешним голоса архиерейских певчих. В рясах и валенках стояли они за сценой, бая не милосердно. Каждый певчий изображал из себя добродетель – Смирение, Любовь, Благодарность и прочие невиданные в жизни штуки, какие только в театре и можно узреть. Волынский был от интермедии далек: встреча с Пашкой Ягужинским язвила сердце. И не шел из головы кастрат Дреер, такие деньги из казны шутя загребававший.

– Иогашка, а наши-то певчие за сколько спелись?

– Ну, рублей пять на всех им под конец дадут...

Неподалеку от персон важных сидел и пиит Тредиаковский.

– Чего этот губошлеп тут сидит? – снова спросил Волынский.

– По должности академической. Ныне Тредиаковский к переводам иностранным приставлен. Да и патрон у него изрядный.

– Чей же он клеотур? – допытывался Волынский у Иогашки.

– Князя Александра Куракина, тот еще с Парижу патронствует.

– Князя-то, – отвечал Волынский, подумав, – мне бить и неудобно, кажись. Так я душу на Тредиаковском отведу.

– На что вам, сударь, бить поэта невинного?

– А так... Поэту больно будет, а патрону его кисло.

В театре, над рядами вельмож и дам, потянуло дымком.

– Никак горим? – принялся Волынский.

– Не, – утешил его Иогашка. – Это кой день леса полыхают.

– Как бы столица не спеклась в яичко от пожаров тех.

– Солдаты тушат. Мох горит, научно торфом прозываемый...

В перерыве между действиями выступал аглицкий мастер позитуры, без ног уродившийся. И этот убогонький, без ног будучи, вместо того чтобы скромно милостыньку просить, изволил на заднице своей плясать танцы потешные. А императрица велела придворным его деньгами одаривать. Черепаха-Черкасский целый кошелек золота монстру кинул. Волынский же при этом прочь удалился. Чтобы не платить. Ибо денег лишних не имел. Ему все эти позитуры на ягодицах не показались изрядными. Из театра он удалился...

За ягдтгартенем (где косуль да оленей содержали, чтобы Анна Иоанновна в убийстве нужды не испытывала) он Балакирева встретил.

– Чего ты скушный такой, Емельяныч?

Балакирев пожаловался, что живот у него что-то схватывает. Да в нужник вельможный его не пускают солдаты.

– Ну ладно. А живешь-то как?

– Языком кормлюсь. А расплачиваюсь боками.

– Не гневи бога, – отвечал Волынский, удаляясь. – Зато у тебя кусок хлеба верный. А вот у нас... эхма!

Иван Емельянович, животом страдая, заволочился в Красный сад, где в теплицах растили клубнику для царицы. Лето жаркое, наверно, клубника скоро поспеет. В кустиках прилег Балакирев, о жизни своей рассуждая. «Хорошо бы, – думал, – повеситься мне. Вот хохоту-то было бы!..» Живот болел; шут вспоминал, что съел сегодня: полкалачика с утра, две оплеухи от Бирена, рыбкой на кухне угостили, Левенвольде в нос ему дал, после царицы суп из раков остался недоеден – так он доел, после чего и палок попробовал...

– Ла-ла-ла-ла, – послышалось в саду императорском.

Средь огородных грядок появился Рейнгольд Левенвольде, обер-гофмаршал. Балакирев из кустов следил за ним. «Вот человек: не жнет, не пашет... везуч, проклятый! Даже невесту сыскал такую, что в России одна-единица – Варька Черкасская, богаче ее нету...»

– Ла-ла-ла... тирли-тирли, – напевал Левенвольде.

Нагнулся он к земле, что-то заметив. Потом шляпу снял и шляпою своею что-то бережно укрыл на грядках. Затем опрометью убежал, резвый и довольный... Балакирев из кустов вылез, прошел на огород. И шляпу Левенвольде поднял. А под нею – вкусно наливалась первая клубничка. Куда он побежал, этот баловень судьбы, шут смекнул сразу. Конечно, понесся за Наташкой Лопухиной, любовницей своей, чтобы угостить ее первой в этом году клубничкой.

Балакирев огляделся: никого не было.

– Что ж, пригласи, – сказал. – Угости ее ягодкой сладкой.

И, нагавив поверх клубнички, он все добро свое шляпою закрыл. Залез обратно в кусты, затаился... Шаги, чу! Ах, мать моя! Рейнгольд Левенвольде вел в огород царицы не Наташку-шлюху, а невесту свою – княжну Варвару Черкасскую, дочь кабинет-министра. Галантно сопровождал ее до грядок и руку к сердцу прижал:

– Вы – божество мое! Любовь моя безмерна к вам, и вот ей доказательство прямое... Вы только поднимите шляпу, чтоб до конца прочувствовать, сколь велико мое к вам чувство нежное.

Черкасская ту шляпу резво подняла.

– Ах, негодяй! – воскликнула она.

Цепляясь широким платьем за кусты шиповника, мимо Балакирева пробежала разгневанная Варька; кольцо обручальное она сорвала с пальца и швырнула – под ноги жениху:

– Презренны вы... Прощайте навсегда!

Со стороны театра доносился божественный голос наемной певицы Анжелики Казанова, которому из-за кулис вторили могучие русские басы – Смирение, Любовь, Благодарность и прочие.

Театральное зрелище заканчивалось. Средь зелени садов, потемневших к вечеру, затихали последние аккорды чужеземной оперы... *Своей оперы Россия еще не знала* – русским людям было тогда не до опер!

...

Корабль пришел в Петербург издалека, и в шорохе упали паруса, выбеленные солнцем, продутые ветрами странствий. В пути за этим кораблем гнались алжирские скампавеи, не раз трескали боевые фальконеты, пушки осыпали пиратов ржавыми гвоздями, которые долго лежали в ведрах с крысиной кровью, уже загнившей (раны от такой отравленной картечи долго не заживали)...

Конец пути – вот он, зеленый бережок. Устал корабль, но еще больше устали люди, плывшие на нем. Искатели судьбы! Бродяги и артисты, наемные убийцы и женщины продажные – все пламенно взирали на русскую столицу, богатства, славы и любви от нее вождедея. Возле таможни царской затих корабль, и пассажиры робко ступили на топкий берег, полого до воды сбегавший. Крутились крылья мельниц за домами Двенадцати коллегий, а беленькие козы, тихо блея, паслись на травке.

Все с корабля уже сошли. Одни с багажом, другие с жадными, но пустыми руками. Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, уходили вдаль, горланя перед пьянкой неизбежной. Подумать только: еще вчера хлестало море прямо в лица пеной, еще вчера в потемках трюма гуляли бочки. А теперь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, приникли к реям, и – тишина... Уверенно ступая, шхипер сошел на берег. В сиреновом свете белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, который смотрел на город, из воды, как сказка, выраставший, а возле ног его шуршала скользкая осока.

– Синьор, а вы почему не ушли?

– Я не знаю, куда мне идти.

– И в России у вас нет даже знакомцев?

– Я никого не знаю здесь.

– Как можно! – возмутился шхипер. – На что вы надеялись, отплывая в Россию? К вам никто не подойдет, вы никому не нужны...

– Я надеялся только на свой гений, синьор шхипер.

– Гений – это дрянной товар... Сейчас я следую в остерию, чтобы напиться хуже разбойника. Ступайте же и вы за мною. Вам, может, повезет, и вы кого-либо встретите среди пьяниц!

В остерии путешественник присел на стул. Закрыв глаза, он стал прислушиваться... Вот немцы говорят, вот англичане, вот французы, гортанно и крикливо – это русские... И вдруг его как будто обожгло родным наречьем – итальянским! Вскочив, он подбежал к столу, за которым восседали два приличных господина в коротких паричках, каких богатые вельможи никогда не носят. Такие парики – на головах мастеровых.

– Синьоры, я прямо с корабля... Вы говорите языком моим же!

Господа в париках ремесленников привстали благородно:

– Я живописец и гравер – Филиппо Маттарнови.

– Я декоратор театральный – Бартоломео Тарсио...

От них он получил вина и сел меж ними. Высокий ростом, кости крепкой, с лицом приятным. Вина пригубив, он остатки его в ладони себе вылил и руки под столом ополоснул.

– Меня зовут, – он начал свой рассказ, – Франческо Арайя, я родом из Неаполя. Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо наградить меня даром композиций музыкальных. Синьоры! Я удивлен, – воскликнул Арайя, – почему ваши лица остались каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих краев?

– Ты знаешь такого? – спросил Маттарнови у Тарсио.

– Увы, – вздохнул декоратор. – А ты?

– Впервые слышу, – отвечал гравер...

Франческо Арайя поникнул головой, большой и гордой.

– Пять лет назад, – продолжил он рассказ, – я поставил свою первую оперу «Berenice», а вслед за нею прозвучала на весь мир вторая – «Amor per regnante».

– Но... где они прозвучали? – спросили живописцы дружно.

Арайя улыбнулся: кажется, его принимают за мошенника.

– Синьоры! – выпрямился он. – Мои оперы впервые услышала Тоскана и... *Рим*! Сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. Вы не поверите, синьоры, сколько у меня было любовных приключений из-за этой славы, которая подстерегала меня из-за угла, как убийца свою неосторожную жертву.

– Тоскана – это хорошо, – причмокнул Маттарнови.

– Рим – тоже неплохо, – добавил Тарсио. – А прекрасная Тоскана издавна славится своим очаровательным *bel canto*.

– Но сосна еще не рождает скрипки, – засмеялся Арайя. – Скрипку из сосны рождает труд. И я способен быть трудолюбивым, что для художника всегда составит половину гения... Итак, синьоры, я продолжаю о себе. Две оперы прошли с успехом, четыре женщины вонзили стилеты в свои ревнивые сердца, не в силах перенести моей холодности. Но, славу принеся на легких крыльях, мне оперы мои в карман не нашвыряли денег. А я желаю золота, синьоры! Почему бы, решил я тогда, не попытать мне счастья в стране ужасной, но в которой можно скорее обогатить себя, нежели в Тоскане или в Риме...

Художники заказали себе еще вина и угостили нувелиста.

– Мальчишка! – пыхтел Филиппо Маттарнови.

– О блудный сын! – вторил ему Бартоломео Тарсио.

– Вы не рукоплещете? – обомлел Арайя. – Вы... ругаете меня?

– Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. Бездарные глупцы бросают родину, дома, родителей, невест и, на золоте помешавшись, мчатся в Петербург...

– Я не бездарен! – вскинулся Арайя. – Бездарны все другие!

– Сядь, не хвались... Послушай нас, – сказали ему мастера. – Итальянская капелла еще поет здесь, это верно. Но звучат под этим небом ее последние вокализы. Иди сюда поближе, чурбан, мы скажем тебе правду... Здесь, при дворе царицы русской, монстров более всего жалуют. Вот ты и научись писать зубами. Огонь петролеума глотай. В кольцо скрутись иль воздух насыщай зловоньем – тогда ты станешь здесь в почете. Один лишь обер-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровитель нашего пения. Но сама царица и фаворит ее, граф Бирен, обожают грубые шутки театра немецкого. Театра площадного! Чтобы пощечины! Чтобы драка до крови! Чтобы кувыркание непристойное без штанов... Тогда они довольны. Разве же эти грубые скоты поймут божественное очарование высокого *bel canto*?

– Плыви домой, – добавил Маттарнови в конце рассказа.

Франческо Арайя долго сидел над вином, почти ошалелый:

– Я проделал такой ужасный путь, чтобы достичь этой варварской страны... Почему вы сочли меня бездарностью? Перед вами – труженик, уверенный в своем гении... Я заставлю Россию прислушаться к моей музыке. Скажите: есть ли в этой дикой стране опера?

– Нет оперы. И долго еще не будет.

– Так я создам ее! Пусть я буду автором первой русской оперы. Не верю я, что Россия от моих услуг откажется...

– Пойми, растяпа, – ответил ему Маттарнови. – Россия никогда тебя не услышит. Россия будет петь свои песни, похожие на стон. Тебя может услышать не Россия, а только *двор* императрицы русской. Здесь – не Италия, песен твоих не станут петь на улицах. А при дворе с тебя потребуют... ты знаешь – чего?

– Не знаю, – отвечал Арайя.

– Им *лесть* нужна. Хоралы и кантаты! Ты будешь погибать в презренном славословье, и музыка твоя умрет навеки там же, где и родится, – во внутренних покоях Анны Иоанновны...

Франческо Арайя наполнил чашку вином и высоко поднял ее.

– В таком случае, – сказал, – я остаюсь. Вы говорите – нужна им лесть? О-о, знали б вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна. Писатель или живописец – они всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно. Вот хорошо – вот плохо! Вот краска белая, вот – черная, синьоры... Совсем иное в живописи музыкальной. Влюбленный в женщину, в честь красоты ее создам я каватину. Я ночью пропою ее, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом двое – она и я... Зато потом, – смеялся Франческо Арайя, – я эту каватину без стыда при дворе *продам*! Название ж каватине дам такое: «Величье Анны, Паллады Севера», и купят дураки. Да, купят – за название! Неплохо, а?.. Ха-ха! И мне отсыплют золота щедро, поверив лишь в название мое. А мы с любимой будем тешиться над дуростью людской, звоном золота себя улаждая.

– Он не дурак, – заметил Маттарнови декоратору и показал рукою на окно остерии, за которым совсем не было ночи. – Сейчас светло, – сказал художник. – По этой улице, что Невской перспективою зовется, ты следуй прямо от Невы. Там встретится тебе речонка, по названью Мойка, ты ее перейдешь и путь продолжишь. Когда увидишь лес вдаль и шлагбаум опущенный, здесь – городу конец. И будет течь река по имени Фонтанная. По берегу ее ты заверни налево. Увидишь вскоре дом, вернее же – услышишь пенье. Вот там, на Итальянской улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства, будь вежлив и почтителен к кастратам славным... И помни, что судьбу свою решать всегда нужно не ночью, а лишь на рассвете!

...

Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арайя входил в столицу русскую, чтобы покорить ее. Не знал он тогда, одинокий пешеход на пустынной улице, что отныне вся жизнь его пройдет в этой полуночной стране, и здесь он станет счастлив, как творец.

Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безголосье, где все сдавлено инквизицией, пусть ворвется и его музыка – легкая, игривая, сверкающая, как фейерверк! Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора, – и... там же угаснет.

Подумай, Франческо, еще не поздно: может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой? Нет, Франческо Арайя останется в России, ибо он жаждет золота... Много золота!

Глава девятая

Князь Алексей Черкасский света белого невзвидел от страха, когда узнал, что Варька кольцо обручальное Левенвольде вернула. Ссориться с Левенвольде очень опасно.

– Дура! – кричал кабинет-министр на дочку. – Ты же и себя и меня погубила. Сама ея величество тебя за обер-гофмаршала сватала... Да и кому ты нужна со своим рылом? Погляди на себя в зеркало: перестарок уже, двадцать четыре годочка прожила в девках.

Решил князь спастись от гнева Левенвольдова. Варьку спешно за рукоделье усадил, чтобы она горбатой Биренше туфли серебром вышила. Жену свою кабинет-министр заставил для самого Бирена жемчужные нашивки для постелей связать... Пугался князь.

– Может, – дочери говорил, – тебя и впрямь за Антиошку Кантемира выпустить? Пушай уж мамалыжник сей дохлый пользуется всем, что я накопил...

Варька капризничала, рыдая горестно:

– Не хочу за Антиошку! Не хочу за обер-гофмаршала... мне бы прынца какого... хоть заваляшенького! Нешто не сыскать?

– Дождешься, что выдам тебя за истопника Ивашку Милютина, ныне он богат. Эвон какие милютинские ряды в Гостином дворе возвел... Вот возьму и отдам ему тебя с потрохами!

Велел Черепаха-Черкасский дворне ружья готовить да голубей ловить для дочери. Желал он меткой стрельбой Варькиной умаслить гнев императрицы. И писал кабинет-министр об успехах дочери самой Анне Иоанновне в депешах курьезных: «Иное попадает княжна, иное кривенько. Садил голубя близ мишени, и стрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз совсем убила его...»

Анна Иоанновна в это лето увлеклась запусканьем змеев под небеса. Руки царицы, тетиву луков татарских рвавшие, удерживали змея любого, и плыли они над крышами столицы, драконами страшными разрисованные, пока не пропадали совсем в поднебесье.

– Ай да забавушка! – восклицала Анна, радуясь...

В городе же нельзя было уже окон открыть – петербуржцы задыхались от дыма, который наполнял столицу. Вокруг трещали леса в огне, выедало в пламени мхи. Ушаков рыскал по округе, выискивая поджигателей. Люди злоумышленные жгли и бояр на Москве; подозрительных бабок, к колдовству склонных, хватили здесь и там, обливали их смолой, сжигали на кострах публично, чтобы народ страхом проникся. Но это не помогало: две столицы полыхали из года в год. А бешеные собаки, вывалив из пастей сочные пенные языки, носились по городам, кусая солдат караульных, детишек и проезжих. Однажды и во дворец к Анне Иоанновне ворвались два таких пса, вволю погрызли придворных. Леса вокруг Петербурга стали сводить под корень: чтобы пожаров не было, чтобы разбойным людям негде прятаться было. Всюду царили страх, неуютство, смятение...

Европейские газеты открыто печатали, что надо ждать смены правителя на престоле русском, а от народа русского – бунта кровавого. И все чаще в «курантах» иноземных мелькало имя отверженной и забитой при дворе цесаревны Елизаветы. А в народе русском постепенно складывалась вера, что только Елизавета Петровна, круглолицая плясунья, простоватая, рыжеволосая, смешливая, – только она, девка воистину русская, может дать облегчение всем людям. Но Елизавета пока сидела смиренхонько...

...

Волынский с калмыком своим, верным Кубанцем, поехал к себе на дачу по Петергофской дороге. День выпал жаркий, дымно оплывало над взморьем солнце. Словно челноки в машине

ткачкой, ерзали по дороге императорской – туда и сюда – драгунские разъезды, дабы путников проезжих от разбоя случайного оберечь.

Не было таких мыслей, которые бы Артемий Петрович мог скрыть от своего дворецкого, и сейчас затужил доверительно:

– Дожили, чтоб оно все треснуло... По своей же земле русский дворянин не знает как живу-здорову проехать. Из народа-труженика мы народ в разбойника превратили. Да и сыскать как? По себе ведаю: когда мне худо, я бы первым кистень взял и пошел бы...

Вдруг со звоном вылетели стекла из окон. Карету вздыбило. С ее боков, хрустя, посыпался лак. Возок Волынского столкнулся со встречной каретой, сцепясь с нею осями колес; лошади с испугу занесли на обочины, вся упряжь сразу перепуталась. Артемий Петрович был на поступки скор – сразу палку схватил и стал бить кучера на чужих козлах. Бил всласть – он любил подраться.

И вдруг над ним раздался голос – властный, строжайший:

– Брось палку, Петрович... Твой кучер виноват более моего!

У Волынского даже руки повисли – трость выронил.

Из окошка взирал на него генерал-прокурор империи Ягужинский.

Долго молчали заклятые враги, один в карете сидя, другой посреди дороги стоя. Мотали лошади головами, грызли удила, а два дышла торчали над ними крестом, словно распятие. Затем граф Ягужинский не спеша из кареты выбрался, и Волынский сразу заметил, что берлинское пиво не впрок пошло ему: постарел Пашка, сугорбился, в пальцах трясушка, ногу волочил, след на песке оставляя.

– Вот уж не ожидал, – сказал генерал-прокурор, – что первого тебя встречу, Петрович... Что скажешь утешного?

Отошли они подальше от людей челядных. А вот слов не было.

– Кто же замест тебя в Берлине послом русским остался?

– Посадили курляндца фон Браккеля, будто русского не нашли... Говорят, – прищурился Ягужинский, – ты после смерти Головкина уцелился на его место в кабинет-министры попасть. А назначили-то меня... Верь, что чести этой не искал. Конъюнктур здешних, петербургских, из Берлина было не разгадать. Может, подскажешь?

– Охотно! – прорвало Волынского на искренность. – В берлоге кабинетной один медведь – Остерман, и то графу Бирену неудобно. Вот и везут второго – *тебя*! Бирен надежду возымел, что ты зубы Остерману все выломаешь. Остерман же, напротив, уверен, что ты на Бирена ринешься с кулаками, как прежде бывало... Уж ты прости, что правда с языка сорвалась! Но, по примеру римскому, скоро мы все, яко Нероны, станем побоище гладиаторов наблюдать издали... Кто кого свалит и жив останется?

Высоко над ними, в дыму, свиристел крохотный жаворонок.

Ягужинский травинку сорвал, куснул ее губами бескровными.

– Худ боец из меня ныне... состарился. Коли на мне конъюнктуры строят, то битвы потешной не бывать. Умру я скоро, Петрович...

И так он это сказал, что Волынского даже передернуло.

– Не умирай ты, господи! – отвечал с надрывом (даже ласково). – Коли ты в Кабинете, так хоть двое русских противу одного немца. Умрешь ты, граф, и... не меня! Не меня изберут! Нет, станет два немца противу одного русского, да и тот русский – князь Черепаша-Черкасский, слова доброго не стоит.

Ягужинский на это смолчал. Похромал к своей карете.

– Петрович! – окликнул издали. – А это ведь ладно получилось, что я тебя раньше не повесил... Теперь *тебе* шумы устраивать! *Тебе* Остермана и Бирена сваливать!

Два дышла разъехали, распятие поломав, конюшие распутали упряжь, настегивая лошадей. Поехали. Один – в столицу, другой – на дачу... Кубанец искоса на господина своего поглядывал:

– Чего сказал-то враг этот? Грозил? Али как?

– И не поймешь. Какой он теперь враг! Вроде бы и Пашка, а вроде бы и нет Пашки. Случилось ему в старости расслабиться духом... Самобытство свое потерял Ягужинский, и, чую, драки уже не будет. Базиль, мыслю я так, что Пашка долго не протянет. И место его в Кабинете ея величества опять будет упалое. Нешто же и в этот раз не меня туда посадят?

Кучер нахлестнул лошадей. Волынский откинулся на валики пышных диванов, простеганных фиолетовым лионским бархатом.

– Я-то еще самобытен! – выкрикнул. – Мне теперича шумы устраивать! Я любому, кто на пути встанет, глотку зубами вырву...

...

Обер-прокурор Маслов теперь неслыханного требовал: персонам знатным указывать стал, каково им мужика беречь надобно. Пуще всего Маслов нападал на князя Черкасского, как на самого богатого помещика, и за это кабинет-министр дышал на Маслова злобой яростной, неистребимой...

– Да не грози мне, князь, – отвечал ему Маслов. – Я своей суровости к алчности вельможной не отменю. Мужик русский за рубеж утекает. Еще десяток таких лет, и Россия вовек потом не оправится. Мало вам, што ли, своих нищих? А вы, министры высокие, еще из Польши наших беглых крестьян воротить желаете...

Стоном выла земля русская, земля богатейшая, земля плодоносная. Два года подряд, будто в наказание какое, побивало Русь по веснам заморозом нечаянным, потом жаром опалило нужду мужичью. Сгорало все на корню! И нужда подперла уже под кадык самый: на пасху святую, когда бы жизни радоваться, маковой росинки в рот не попало. Вновь, словно саранча серая, нахлынули нищие на Москву и Петербург, от христорадцев не стало в городах спасения...

– В чем дело? – удивлялся Остерман в Кабинете. – Когда немец встречает добропорядочного нищего, он дает ему *работу*. Когда русский встречает лентяя-нищего, он дает ему *милостыню*... Отсюда и явилось изобилие попрошаек – от безделья!

А что мог сделать Маслов? Манна небесная на русский народ еще никогда сама не просыпалась. Единое дело провел он – указ! Дабы земля дворянская впусте не лежала, пускай мужик на ней сеется, в свои закрома зерно сгребет. И указно повелел обер-прокурор помещикам исполнить все это «под страхом жесточайшего истязания и конечного разорения...»

– Как они с мужиками, так и я с ними буду...

Дунька, умница его рябая, на колени пред мужем пала.

– Батька мой родной, – заплакала, трясясь, – отступись ты с миром... Экие персоны противу тебя стенкою встали! Неужто, себя и меня не жалея, проломишь ты их слабым мнением своим?

– Лоб себе расшибу, – отвечал Маслов, – но не отступлюсь...

На этот раз свидание его с императрицей было долгим и мучительным. Бирен тоже при этом присутствовал, но больше помалкивал. Анна Иоанновна завела речь о войне близкой, войне разорительной, ныне много денег понадобится. Да еще решила она чиновникам в столице, противу иных городов империи, в два раза денег больше давать, потому как Петербург – парадиз (что в переводе на русский – *рай* означает). Теперь Маслов для нее где хочешь достань, вынь да положи, – чтобы из ада рай сделать.

– Ваше величество, – отвечал Анисим Александрович, низайше кланяясь, – корень зла в бессовестности помещиков состоит. Подати палкой выколотить – наука невелика. А вот недоимки с народа за прошлые годы собрать – больно, словно зуб вытянуть. Нонеча уже *вся* Россия... *вся*, поверьте мне, состоит в должниках вашего величества, и должники те разбегаются куда глаза глядят!

– Не все же должны нам, – заметил Бирен озабоченно.

Маслов на каблуках туфель, сверкнувших стразовыми пряжками, резко повернулся в его сторону. Он знал, что Бирен к нему благоволит, и разговаривал с графом всегда открыто, без утайки.

– Верно, ваше сиятельство, не все... Однако нам грозит оскудение полное и безлюдье провинции – вот что страшно! Деревня скоро станет пуста: кто в города – милостыню просить, а иные – в лес, кистенем пропитание добывать. Из того в печали горестной я пребываю, и прошу высочайшей милости...

– Что умыслил-то, прокурор? – спросила его Анна подавленно.

И тогда Маслов ударил ее, словно в лоб:

– Вот что! Крепостное право надобно в законность привести. А для этого сначала *мужикам непременно воли прибавить*...

– Эва надумал! – удивилась Анна, поглядев на Бирена.

– А я не понял его, – ответил Бирен. – Переведите мне...

Анна Иоанновна повторила ему слова Маслова по-немецки.

– Пусть он делает что хочет, – засмеялся Бирен. – Я ведь не русский помещик, а только обер-камергер двора русского.

Но императрица поддернула рукава голубой кофты. Красный платок на ухо ей сбился. Туфли царицы шлепали по паркетам.

– Зато я, – сказала, побагровев от гнева, – помещица российска! И всей России есть хозяйка... Думаешь ли, Анисим Ляксандрыч, что болтаешь тут?

– Ваше величество, – снова поклонился ей Маслов, – не ваших прав ущемления домогаюсь, а лишь ничтожно и покорнейше воли прошу для людей, ущемленных всячески от рождения.

Бирен тяжело вздохнул. Что он вспомнил сейчас? Может, свою бедную мать, собиравшую шишки для герцогского камина? Или острый запах конюшен – запах его юности – вошел ему в ноздри, как память обо всех унижениях, пережитых им смолоду? Он вздохнул...

Анна Иоанновна в ответ заявила Маслову:

– Моими дедами так уж заведено, чтобы воли мужикам не давать, а помещику о довольстве их всемерно и отечески печься.

Бирен куснул ноготь. Анна Иоанновна взглядом, полным муторной тоски, вызвала на себя его ответный спокойный взгляд.

– Я в русские дела не хочу вмешиваться... трутти-фрутти! А впрочем, я посоветуюсь. Хотя бы с моим гоффактором Лейбой Либманом... он имеет верный взгляд на дела финансовые...

– Румянцев-то генерал, – неожиданно сказала Анна, – был прав: финансов в России нету. А есть только подати и недоимки. Европа смеется над нами, а мы плачем. И те недоимки хоть из глотки, а надобно вырвать. У меня эвон война с турками на носу виснет... Что же я? Возьму твоего Лейбу, граф, и с ним воевать пойду? Много я с жиденком твоим навоюю.

– Пожалуйста! – кивнул Бирен. – Вот перед вами стоит господин Маслов: честнее этого человека я никого больше не знаю. Сблагovolите же ему все недоимки с народа и собрать для вас. Пусть он давит помещиков, а помещики пусть прессуют крестьян...

– Ты слышал, что тебе сказано? – спросила императрица.

Маслова дома жена встретила, сообщила, что приходил английский врач Белль д'Антермони, целый час сидел.

– Чудной он, – рассказывала Дунька. – Молол мне о разностях, будто тебе надобно отравы беречься. Про женщин сказывал, что есть у них перстни на пальцах. Камни в перстнях у них – то голубые, то розовые, и следить надобно за столом, чтобы цвет их не переменялся: иначе – беда будет!

Маслов выругался, шпагу в угол комнат закинув. В эти дни граф Бирен получил от него письмо. Маслов предупреждал Бирена, что завелись люди, желающие его, Маслова, погубить... Тут как раз вернулся из Берлина и генерал-прокурор – Пашка Ягужинский.

...

Прежнего согласия между ними не получалось. Обер-прокурор Маслов еще сражался с несправедливостями. А вот генерал-прокурор уже сник, и при дворе видели теперь Пашкину спину – согбенную.

Покорность бывшего буяна сильно озаботила графа Бирена:

– Что с ним случилось? Я рассчитывал, что он, приехав домой, сразу расшибет в куски Остермана. А тут надо бояться, как бы Остерман не загнал Пашку под стол...

А счастливчик Рейнгольд Левенвольде скоро позабыл Варьку и утешился в своем потаенном гареме, составленном из разнокожих женщин. Миних приехал из Польши в Петербург – громкогласный, звенящий амуницией, рыкающий на всех, богатый, толстый... Эти два обстоятельства отозвались в далеком Лондоне, где угасал посол русский – князь Антиох Кантемир. Он вновь обрел надежды на счастье с «тигрицей», как величал поэт княжну Черкасскую; он оценил приезд Миниха, как подготовку к войне, и – в случае победы Миниха – Кантемир мог претендовать на корону царя Валашского и господаря Молдавского...

Впрочем, князю Кантемиру вскоре предстоят некоторые неприятности. Европа готовит к печати книгу – о России и русских.

Глава десятая

Ветка! Вот она, обитель беглых людей русских. На реке Сож, в поймах ее и на островах, по берегам приятным, белеют мазанки слобод раскольниковых – Марьино, Луг Дубовый, Крупец, Грибовка, Тарасовка, Миличи...² Брызжет ярью малина над частоколами, несут детишки грибы из леса, над нехитрым мужицким счастьем стоят в карауле на крышах аисты польские...

С тех пор как Петр I разгромил скиты Керженца, а Питирим нижегородский (этот волк в рясе) пожег на кострах 122 000 раскольников, – с тех пор и стала зарубежная Ветка райским местом для всех несчастных, воли ищущих. В лесах Черниговщины, совсем недалеко от Ветки (но уже в России), лежало грозное, тишайшее Стародубье – там тоже «гнезда» были. А здесь, по реке Сож, словно город большой и вольный, цвела, шумела, пела, гуляла, сеяла, колосилась, жала, ела, пила и справляла свадьбы зарубежная непокоренная Русь!..

По всей стране вышел запрет от царицы, чтобы простые люди серебра монетного не имели. Ветка – напротив – имела серебра много. Епископа им своего захотелось. Серебро – в ход. Епифания Реуцкого, которого Феофан на Соловки ссылал, от солдат отбили, привезли на Ветку: священнодействуй! Земли в округе Ветки пану Халецкому принадлежали; пан на Ветку приедет – ему полный воз денег насыплют, за это пан своих смердов тиранит, а русских не тронет. Жизнь тут вольная: царя нет, пыток нет, поборов нет, – цветет в зелени садов, хорошеет и богатеет зарубежная Русь... По утрам гудит колокол церкви, и храм этот – единый, где за Анну Иоанновну крестьяне не молятся, а на Синод палаческий отсюда харкают, как на пададь поганую...

Вот сюда-то, в этот мир, и попал гулящий Потап Сурядов.

...

До Ветки следуя, он сильно сомневался – не изгонят ли?

Мерещилось, будто его тут станут пытаться о правилах веры: как крестишься – двупало или трехперстно? Потапу все равно было – хоть кулаком крестись. Боязно было поститься да молитвами себя утруждать, – за годы эти гулящие отвык Потап от набожности церковной.

Однако опасался зря. Живи, трудись, не обижай других и сам обижен не будешь. Не было тут постников да молитвенников. Беглые солдаты и матросы галерные, мужики вконец разоренные, люди фабричные, но больше всего – крепостных! И нигде Потап столько богохульства не наслушался, как здесь, на Ветке, особо в дни первые... Ходил по деревням ветковским какой-то старый бомбардир с ружьем ветхим за плечами.

– Люди! – взывал он. – Заходите прямо в меня, будто в храм святой... Вот престол храма! – ударял себя в грудь. – Вот врата царские! – и при этом рот разевал. – А вот и притворы служебные! – на уши свои показывал...

Всех таких, как Потап, «из Руси выбеглых», собрали гуртом, и монашек веселый, руками маша, командовал:

– Которые тут еще не мазались, ходи за мной... Перемазаться греха нет! У нас, как и везде на Руси, молятся. Вот аллилуйя лишь сугубая, хождение посолонное, а вместо слова «благодатная» употреблять следует «образованная». Миров у нас свое, сами вдосталь наварили. Вот и пошли дружно – перемажем вас!

Кисточкой чиркнули Потапа по лбу, запахло гвоздикой и ладаном. Отшибли в сторону. За ним другой лоб подставил. Потом «перемазанных» отпустили на волю вольную, и тут каждый должен был соображать – как жить далее. Потап – по силе своей – в паромщики подался.

² Ныне Ветка – поселок Гомельской области на юго-востоке Беларуси.

Ветка очень большая, народ в ней никто не пересчитывал, но в иные времена, говорят, до 100 000 скапливалось; на воде много деревень стоит, одному – туда, другому – сюда ехать, вот и крути громадным веслом с утра до ночи. Но еда была обильная, сон крепок и сладок в садах душистых, никто не гнался за тобой с воплем: «Карау-ул, держи яво!..» Чего же не жить?

Росла борода у Потапа – русая, с рыжинкой огненной, кольцами вилась. По ручьистым звонам, через темную глубину и русалочьи омуты, гонял он паром бревенчатый, ходуном ходило весло многопудовое, играла сила молодецкая. Иной раз так разгонял паром, что врезался он в берег с разлету: падали бабы, просыпая ягоды из лукошек, визжали девки, а кони ставили уши в тонкую стрелку.

В садах берсень и вишенье поспевали. Иногда и грустно становилось. Отчего – сам не знал, но вспоминался тревожно край отчий. И здесь тополя да вязы над водой никли, и здесь курослеп желтый да щавель красненький – а все не то... Будто не хватало чего-то!.. Речь поляков начал понимать. Украинскую – тоже. И кричали петухи по утрам. Заливисто и бодряще, как кричали они на Руси...

– Ах ты жизнь моя! Не сходить ли мне на Русь в гости?

Но его строго предупредили:

– Того не смей. От нас едино лишь начетчики-грамотеи ходят, по Руси «гнезда» вьют, они тропы заповедные знают. Тебя же ишо на Стародубье пымают. Есть там полковник такой – Афанасий Прокофьев Радищев, он людей толка нашего свирепым огнем палит. Серебро возами у нас вымогает. И ходить нельзя: вызнают что-либо – опять нам выгонка на Русь под ярмо станется...

Через поляков доходили до ветковцев слухи неясные. Говорили за верное, будто Миних уже отъехал на Украину, готовясь противу турка воинствовать. Армия же русская из Польши домой тронулась, а впереди себя гонит толпы беглецов русских. Всякого, кого увидят, обратно с собою уволакивают. Помещики же русские беглецов тех на границе ловят – кому какой достанется (тут уж не разбираются), и опять в рабство вечное закабаляют...

Но пан Халецкий однажды приехал, утешал ветковцев:

– Не бойтесь, хлопы москальски! Миних покинул земли Речи Посполитой, а обратно не вернется. Ваше государство иными заботами отягщено сейчас – поход на Крым готовят...

...

Кинуло цвет в завязь – твердую, кислую. Старики сулили хороший урожай яблок и груш. Крепко спал Потап на сеновале, ноги и руки разбросав по травам благоуханным. Снился ему Колывань-городок, где на Виру он калачи покупал... потом с калачом в руках его пред полком явили. Костер развели, и забили барабаны... Сам граф Дуглас схватил Потапа за ногу и потащил его к профосам, чтобы живьем его сварить в котле кипящем...

– Вставай, дурень! – сказали в ухо ему. – Выгонка учалась!

Вовсю стучали солдатские барабаны. Поздно было спасаться: три полка армейских, войско драгунское и казачье уже окружило слободы ветковские. Ветка горела, полыхали по берегам деревни. В огне корчились белые яблони, ревел в хлевах запертый скот, мчались через сады, ломая изгороди, длинногривые кони. Выскочил Потап на улицу да – к реке. Тут его ружьем по голове так ладно пригладили, что он покатился... Мужиков вязали накрепко. Баб отгоняли в сторону. Детей по телегам кидали. Через всю слободу шла старуха и, приплясывая, творила злобное причитание:

Не сдавайтесь вы, мои светики,
Змию царскому – седмиглавому,
Вы бегите от него еще далее –

Во горы высокие, во вертепы...

Тем и кончилась райская жизнь. Разлучив матерей с детьми, мужей от жен оторвав, гнали через рубеж, обратно в Россию, в рабство неизбытное... За ними догорала Ветка, еще вчера отряхавшая белые цветы. Потап в страхе был: что отвечать допытчикам, ежели спросят – кто таков и откуда сам?

Всех паромщиков к труду приспособили. Должны были они церковь, на Ветке бывшую, за рубеж перетаскивать. На переправе же через Сож церковка опрокинулась – бревна ее далеко уплыли. Решили хоть алтарь спасти. Артельно потащили на Русь алтарь, и Потап свирепо налег в лямку. Гроза была ночью. Молния как фукнет с небес – будто, язва, из пушки прицелилась. От алтаря божиего – пырх! – одни головешки остались. Людей пожгло, Потапу бороду огнем опалило... Полковник Радищев разрешил ветковцам забрать с собою мощи нетленные от старцев святой жизни. Потап на себе тащил гроб старца какого-то Феодосия, а в гробу что-то подозрительно стучалось. Напрасно он мучился: когда на русской земле гроб открыли, там – никаких мощей, одни косточки.

Так-то вот приволоклись «выбеглые» в Стародубье. Афанасий Радищев тут объявил, что сидеть надо тихо. А подушный налог теперь, яко с отступников, будут с них двойной собирать. Годных же к службе воинской сейчас в рекруты запишут. Потап ног под собой не чуял – спастись надо. Тут сбоку от него объявился человек незнаемый, который совет дал.

– Вишь, вишь? – сказал, на Радищева указывая. – Вишь, как зоб у него распухает? Сейчас в гнев войдет и льва библейского собой явит... Коли спастись, так беги до города Глухова: тамо, слышал я от людей знающих, каждому дается сразу по бабе, по шапке, по волу, по сабле и по жупану... Станешь казаком вольным!

И Потап бежал...

...

В преддверии большой войны генерал Джеймс Кейт объезжал украинские засеки и магазины, где все припасы давно сгнили, еще со времен Петра I сваленные в кучи. Появился на Украине и Карл Бирен – инвалид, брат фаворита. Начались его достопамятные зверства: гарем развел из девок малолетних, заставлял баб щенят на псарне грудью выкармливать...

Бунчуковый товарищ Иван Гамалея сидел в писарской избе войска Лохвицкого. На подоконнике дозревали арбузы. Один уже треснул. В раскол его, в самую-то сласть, в мякоть яркую набивались окаянные мухи. Бунчуковый писал жалобу графу Бирену – на брата его Карла Бирена:

«...в сиятельстве своем подманил на бахче девку малую Гапку, увел в садик за куренями и, учинив той девочке гвалт ее паненству и много своим мужским бесстыдием над оною паствячися, аж до смерти оную размордовал, отчего и вмерла Гапка на день второй...»

Упала тень от дверей – загородила солнце. Бунчуковый глаза от писанины оторвал, на прищельца незваного глянул. Стоял перед ним молодой парубок, ростом под потолок, ноги босы и черны от пыли, рот широк, скулы остры от голода, а глаза голубые.

– Чего тоби? – спросил Гамалея.

– Пособи, пане, – отвечал тот. – В казачестве бы мне осесть.

– А ты кто таков? Чего-то я тебя на кругу не видывал.

Назвался парень Потапом (видать, беглый). Взял бунчуковый плетку, на стене висевшую, опять Гапку вспомнил.

– Иды, – сказал, – я тоби в сечевики зараз выведу...

Вывел Потапа на двор. И стал лупцевать, ожигая справа налево. Большая свинья терлась об тын, ко всему равнодушная, и гремели поверх тына горшки, раскаленные на солнце, один об другой стучаясь. А бунчуковый ожигал Потапа исправно, приговаривая:

– Оть, москальска хвороба! Развелось вас тут, бисово симя!

Вырвался Потап от бунчукового, убежал. И так стало обидно, что упал он в лопухи посередь площади. Шумела, горланила и плясала над ним в реве быков душная воловья ярмарка. А он лежал и плакал в лопухах, серых от пыли теплой...

– Ой, чоловики ридны! Бачьте, як москаль убивався...

Обступили Потапа хохлы. Стали горилкой потчевать. Давали тютюна нюхать с рук жестких, мозолистых. Пахло от стариков чесноком да яблоками, разило от штанов парубков дегтем колесным, и цветасто реяли ленты зубастых крепкощеких молодок.

– Тю! Тю тобі, – говорили все ласково. – Не убився...

Было это с ним в городе Глухове, где на себе изведал, какова вольность казачья. Под вечер ярмарка опустела. Арбузы лежали на арбах – любой бери. Волы дышали в темноте, как люди, устало и раздумчиво. Потап начал свою жизнь по косточкам разбирать. С чего же начались все несчастья его? Вспомнил он дом Филатьева на Москве и тот день, когда барин послал его на выучку к принцу Гессен-Гомбургскому, чтобы искусству сечения он обучился... «Может, – размышлял Потап, – мне бы тогда судьбу и повернуть? Надо бы не отпираться, как следует выпороть Ваньку Осипова, который ныне Ванькой Каином стал?..»

Прошел не день и не два. Волы привозили арбы с солью и арбузами. Волы увозили пьяных хохлов по домам. Вставляли зори над садами и ложился мрак – теплый и волнующий – на землю, радугами осененную. А он все думал. И понемногу сложил в голове своей такое: «Окол народа завсегда толкусь, вот мне за всех и влетает. Не лучше ль жить от народа подальше?»

Даже плечами передернул – столь страшно от людей уходить. Но все же встал и пошел. На этот раз уходил Потап далеко – на Дон или на Кубань (сам не знал пути-дороги). Травы стояли высоко – по грудь. Солнце пекло нещадно. Изредка куреня встречались в степи. Там деды сидели в портах широких. Были деды молчаливы в древней и мудрой старости. Иногда выбредал Потап на засеку покинутую. Еще издали вышка виднелась, на вышке той сложен хворост горюч. Коли поджечь его, начнется тревога по всей Украине, поскачут в седла чубатые хлопцы, завоют их матери, долго будут бежать за конями девки («Татарин! Татарин идет...»). Но татар пока нету – чисто в степи утром. А закаты здесь быстротечны и неминучи, как смерть человеческая. Тьма, звезды, прохлада...

В одну из ночей высокий курган встретился. В тени его Потап и залег. Тихо потрескивал костерок, да скрежетали в ночи, будто сабли, острые иссушенные травы... Задремал Потап, сквозь сон слышал он лепет ветра, шелестевшего золою. Очнулся же от мягкого топота копыт. Глаза протер, спросонья даже оторопел.

– Эй, кто тут?

Прямо над ним нависала бездонная пропасть неба, и над этой пропастью вырастал неведомый... *всадник*.

Торчала над головой его остроконечная шапка.

– Добрый ли ты человек? – спросил его Потап с опаской.

– Поган урус, – услышал в ответ.

В воздухе свистнуло, жесткая земля, в кольцо собравшись, вдруг захлестнула его горло удавкой мертвой.

– Ах! – вскрикнул он от резкой боли, и что-то сильное потянуло его прочь от погасшего костра, потащило по земле.

А земля эта (такая нежная и мягкая) вдруг обернулась для него злой мачехой. Когтями, кустами, корнями, травами она раздирала тело Потапа, и катилась под ним в даль неизбежную,

а топот лошадиных копыт то удалялся, то вновь настигал его. И разом померкло все, и погасли звезды на небе...

Очнулся, глубоко дыша. На шее уже нет аркана. Но зато намертво связаны за спиной его руки. Всадник слез с коня и стоял над ним; вдруг нагнулся, одним рывком поставил Потапа на ноги, снова запрыгнул в седло.

Ногайка взлетела – бац по коню. Еще взлетела – бац по Потапу.

Конь сразу тронул рысцой. Потап – за ним, и аркан от луки седла тянулся к рукам его. Было уже поздно исправлять судьбу. Так они и бежали рядом: конь с человеком и человек без коня.

Начиналось полонное терпение... Он попал к ногаям!

Глава одиннадцатая

Когда «Тобол» с разлету уперся форштевнем в зеленоватые льды, поначалу решили – проскочим. Так думал и Овцын.

– Пчел бояться – меду не пробовать! – сказал лейтенант и велел якорь бросать...

В темную глубь длинным буравом впивался канат, сверля пучину. Где-то там, в таинственном полумраке стылых вод, распугивая рыбин, сейчас якорь ляжет на грунт, острым бивнем клешни своей возмутит вечную чистоту векового безмолвия...

– Стоп! Кончай травить, слабину выбери.

– Взял якорь? – спросил от штурвала Афанасий Куров.

– Взял, – поежился Овцын. – Стоим крепко.

Было всем зябко. Плотный лед лежал рядом, закрывая дубель-шлюпу путь в океан. Берег едва угадывался вдали. Холодный день угасал, весь в искристом мерцании. Стали ждать, когда разомкнется ледяная преграда. Верилось в опыт прежних походов. Трое самоедов, взятых в плавание, сидели в трюме на корточках, посматривая искоса, чмокая языками. «Распаления» льда не сулили.

Первым умер корабельный плотник. Овцын наблюдал, как рядом с якорным канатом медленно тонет его тело в белом саване. Вот он уже едва виднеется... синева затопила все... Прощай, товарищ!

– Я лягу, – сказал Овцын своему подштурману.

В каюте уперся ногами в переборку, свистнул собаку Ньюшку, чтобы легла рядом, его грея, и больше лейтенант не вставал. Сны были тяжкие, нехорошие. Приходила к нему в снах княжна Катерина Долгорукая, мучила в поцелуях – влажных и грубых. Проснувшись, Овцын почесал ногу. Опять зачесалось... Что там такое? Задрал штанину... Так и есть: скорбун!

– Началось, – сказал Овцын и упал на подушки.

Куров вполз в каюту на коленях (уже не мог ходить).

– И ты? – спросил его Овцын. – А что наверху?

– Не распалило. Умер матрос Шаламов... Подниметесь?

– Сейчас... встану.

А мир был светел, ветер свеж, в смерть не хотелось верить. Как ослепителен был вечный блеск мира полуночного!..

Следя за тонущим покойником, Овцын встряхнулся.

– Эх, навигаторы, – сказал недовольно. – Да шлюп-то наш давно сносит льдами. Куда же вахта смотрела, раззявы?

Куров тронул якорный канат, он подался свободно, безгрузно. Выбрали его на палуб, и Куров показал лейтенанту лопнувший от перегнива конец.

– Бросай второй! – велел Овцын и полез обратно в каюту.

А там – чад лампадки перед иконой Николы, грязь засаленных мехов, качка постылая и удушье, течет по бортам сизая плесень. Снова лег, стараясь «услышать» грунт. Второй якорь забирал плохо. Одна чугунная лапа у него давно была сломана. Лед ночью стал напирать, двигая «Тобол». Умер хороший человек – рудознатец Медведев, и Овцын уже не мог подняться на палуб.

– Без меня, – попросил. – Видит бог, я ослабел...

Скоро на вахте остались только квартирмейстер с учеником геодезии да с ним двенадцать солдат. Остальные полегли на рундуках – в тоске. Дубель-шлюп всю ночь напропалую стучал носом в ледяной барьер, словно в двери нерасторжимые. Смерть стояла рядом... Доколе ждать?

– Позови ко мне самоядь, – сказал Овцын кают-вахтеру.

Проводники-самоеды вошли и затрясли головами: лето необычно холодное, лед не раздвинется, скоро уж осень, и тогда... Слабеющей рукою Овцын разлил водку по чаркам. И свою чарку поднял.

– Вам верю, – сказал проводникам... – Вы здешние...

Отпил полчашки, и водка в чашке его вдруг стала красной. Испуганно вытер рукою рот – ладонь в крови. Тогда он допил вино одним махом, выслал проводников прочь, созвал консилиум. И коллегиально порешили: *уйти*... Когда загудели паруса, а дубель-шлюп рывком накренился, скорость набирая, Овцын чуть не заплакал. Адмиралтейству ведь пером на бумаге всего не рассказать. Да разве поверят ему в столице, что лед за лето не мог растаять? «Под солнцем-то?» – спросят его, и станут адмиралы над ним потешаться, как над врунишкой...

– Афоня, – позвал он Курова, – кажись, мне самому в Питерсбурх надобно ехать, дабы от попреков отбиваться словесно.

– Как же вы? Сами ног не волокете.

– Лишь бы на урочища выйти, опять хвою пить станем. А ехать надо. Боюсь не за свою карьеру, а за судьбу дела нашего. Докажу адмиралам, что «Тобол» еще отворит эти ворота смертные...

Болезнь скорбунная – сам не знаешь, что за штука такая. Недаром она женщиной в соблазнительных снах является на зимовках. Но как только «Тобол» вышел на урочище Семи Озер, люди сразу повеселели. Вылезли наверх, сами патлатые, зубы у всех шатаются, а уже полегчало... Ожили!

Наконец «Тобол» зашел под высокий берег Березова, высился над обрывом частокол острожный и торчал шатер церкви ветхонькой. Уже и осень подступала. Сильная гроза – с эхом, длившимся очень долго, – разрывала небосвод над тундряной юдолью. Священник Федор Кузнецов, на диво трезвый, служил панихиду по тем, кто навеки остался в мрачной глубине, возле кромки зернистых льдов...

Овцын стоял среди матросов своих, тонкая свечечка оплывала в его руке. Горячее дыхание обожгло затылок ему. Навигатор не обернулся. Конечно, это... *она*! И своей рукой Митенька нащупал Катькину руку, узкую и влажную от волнения любовного. Из церкви они вышли вместе. На паперти стоял майор полка Тобольского, которого Овцын не знал. Оказалось, майор Петров Петр Федорович прислан в Березов недавно – надзор фискальный за Долгорукими иметь. Человек он был разумный, зла никому не желавший, к Овцыну отнесся с почтением, в гости к себе зазывал.

Екатерина Долгорукая рядом стояла, глаза опустил.

– И вас, княжна, – поклонился ей майор Петров, любовь тайную приметив, – прошу ко мне с лейтенантом жаловать...

В гостях у майора было хорошо. Майорша Настасья (из рода Турчаниновых) книжницей оказалась. Говорили за столом о разном. О бобрах березовских, кои, словно войско, свои дозоры от собак местных имеют; караулы бобры несут посменно – как солдаты. О грозах судачили березовских, естество которых человеком еще не изучено. О мамонтах дивных, кои в лед вмерзли, и научно в этих краях еще многое человеку должно открыться... Катька Долгорукая от слов умных заскучала, но вида скуки наружно не показывала. Ни жива ни мертва сидела женщина, вся – от груди до коленок – наполнена любовным томлением. А под самую полночь стук в окошко раздался – это подъячий Осип Тишин, пьяный, до гостей рвался.

Майор Петров встал, подъячего стукнул и на улицу выбросил.

– От винного питья устали мы все, – сказал майор сердито. – Дай с человеком умным тверезо душу в разговорах отвесть...

Обратно до острога Овцын провожал Катерину; за кладбищем она шубу на себе широко распахнула, грудью припала к нему. Целовала горячо – как и та, ужасная, что являлась в каютных снах, влажно и грубо, не по-девичьи! И каждый раз говорила:

– Охти мне! – И, губы обтерев, опять с жаром целовалась. – Охти, сладко мне... Ни на каких царей не променяю тебя!

Сказал он ей, что отъезжает с рапортом в Адмиралтейство. От разлуки убивалась Катька на погосте кладбищенском, где торчал крест царской невесты – княжны Меншиковой. Причитала навзрыд, по-деревенски. Гладил он плечи Катькины, но тоску ее звериную, ненасытную не осуждал: из темени сибирского безмолвия светят ему огни столицы, вихри проспектов питерских, блеск и суета. Она же остается здесь, в кольце снегов навеки закована.

– Только не брось меня! – умоляла Катька. – Не позабудь... един ты! Вернись ко мне, Христом-богом тебя заклинаю...

В пути до Тобольска опять Овцын заболел. Лежа в узких санках, слушал он, как протяжно свистят полозья под ним, видел перед собой вертлявые хвосты остяцких собак, считал безутешные версты. А на почтовом дворе Тобольска его огорошили новостью:

– Царица-то наша войну ведет. Ведомо ли о том в Березове?

– Дошла весть об осаде Минихом Данцига.

– Вы, березовские, словно с печки свалились... Какой там Данциг? Тая война давно кончилась. Новая грядет – с турками!

...

Война была нужна! Анна Иоанновна и сама это знала. С тех пор, как ее головы коснулась корона, она *ничего* не приобрела, лишь теряла и разбрасывала прежде нее завоеванное. Бесчестие мира Прутского было еще свежо в памяти народной, – пора опять выйти на просторы Причерноморья, ногою твердой стать на Азове, а гнездо разбойничье – ханство Крымское – полному разоренью предать.

Там, за морем, в Константинополе, – Большой Порог и Большая Дверь, а в Бахчисарае – Малый Порог и Малая Дверь, и вот теперь пора (через Дверь Малую) отворить пред Россией Дверь Большую! Момент для войны был удачный: Турция еще связана войной с Надиrom, а хан крымский Каплан-Гирей ушел с конницей помогать туркам в делах персидских... Был канун великого почина!

И в самый этот канун вдруг струсил Остерман. Как всегда в опасные моменты карьеры, Андрей Иванович перед императрицей такой вид принял, будто уже помирает. И стоять не может – ноги его не держат. Но императрицу на этот раз он не разжалобил: сесть вице-канцлеру империи она не разрешила.

– Коли, Иваныч, стоять тебе неважно, – сказала царица, – так ты на печку обопрись, а я глаза отведу, будто слабости твоей не замечаю. Да говори, чего удумал ты?

Остерман повел речи свои робкие – напряженно:

– Экономическое положение государства таково, что при потрясении военном банкротства ожидать надобно. Я вам вещал и ранее, что боязно войну начинать. Да и... что даст война? И до нас смельчаки находились, Крым воевавшие, а... Крым-то стоит нерушим! Помяните хотя бы поход князя Василья Голицына при царевне Софье. Он войско русское до самых ворот Крыма довел, замок от дверей ханских поцеловал и... ни с чем назад обратился. Крым силен! – доказывал Остерман. – За ханом же крымским сам султан турецкий зубы скалит, и с ним нам не совладать...

Анна Иоанновна с постели соскочила, кулаки воздела.

– Я не дурочка тебе деревенская, которую морочить можно! – закричала густо. – Сам же в войнищу экую нас втравливал, а теперь – в кусты? У меня машина воинская уже запущена...

Остерман с трудом себя от печки тепло отклеил:

– О чем речь? Любую машину всегда можно остановить.

– Армию ты остановишь, а... Миниха? – спросила Анна Иоанновна. – Ежели ты, граф, такой уж смелый, так попытай судьбу свою: попробуй оттяни Миниха от войны... Что затих?

Развернувшись к нему широченной спиной, рукою махнула:

– Ступай вон и лишнего не сказывай мне. Как послушаю Артемья Волынского, так, может, и прав егермейстер мой, что плывешь ты, Андрей Иваныч, каналами темными... Что на уме у тебя? О чести-то государства Русского подумал ли хоть раз?

Остерман из-за спины поймал ее багровую, как у прачки, руку, покрыл ее поцелуями, весь в рыданиях притворных:

– Ваше величество, мне ваша честь дороже чести государственной. Я – весь ваш... за вас на костер пойду... на муку!

– Ступай вон. Ты не понравился мне в сей день...

Россия – в ярком блеске оружия, в согласном топоте ног, в реве верблюдов и ржании лошадей – уже стремглав катилась в войну. И графу Остерману лишь мизинцем шевельнуть, чтобы армада эта замерла как вкопанная. Но ему, конечно же, не сдержать Миниха, который на увертки Остермана говорил всюду открыто:

– Я растопчу это гнилье ботфортами, я раздеру вице-канцлера своими шпорами, если он славы меня лишать вознамерится...

А война уже началась!

...

Война началась боевым соперничеством двух немцев – Миниха и генерала фон Вейсбаха, который управлял войсками на Украине и считал, что он должен командовать армией, а не Миних... Борьба закончилась поражением Вейсбаха: за ужином у Миниха он вдруг схватился за живот и тут же умер.

– Так тебе и надо, старый дурак, – сказал при этом Миних, явно радуясь.

Но теперь фельдмаршал никак не мог сдвинуть с места генерала Леонтьева, перед которым ставилась задача – идти прямо на Крым и брать его.

– Вот хлеба уберут, – зевал Леонтьев, – тогда и двинусь.

– Генерал! Что вы о хлебах печетесь? Пока я беру Азов, вы должны двигаться на Крым... Хлеба и без вас уберут на Украине.

– Жарко сейчас, – упорствовал Леонтьев. – Ближе к осени, по холодку, проворнее и солдат пойдет и конь побежит...

Леонтьев дождался осени, взял 42 000 человек и 46 пушек – пошел на Крым, чтобы предать его огню и мечу. Война Турции объявлена не была, ибо армия русская стучалась сейчас не в Большую Дверь, а лишь в Малую... Была чудесная пора, над Украиной стояли погожие, ясные дни. Не холодно и не жарко. Леонтьев, имея при себе двух личных поваров, сибаритствовал в роскошной карете. Армия его шагала вдоль Днепра по землям Сечи Запорожской. Татары навстречу русским пустили пал – выжгли траву; но с пожарами они поспешили. Леонтьев выступил в поход позже, и уже успела вырасти в степи свежая травка... Казалось, все складывается удачно: не так страшен черт, как его малюют!

В октябре армия вступила на дикие земли ногаев. За Конскими Водами завиднелись зловеющие колпаки улусов разбойничьих. Войску был отдан приказ: смести ногаев, дабы открылся путь к Перекопу. Дрались воодушевленно – побили всех, сбатовали скотину, нагрозили добром верблюдов, наелись мяса вдоволь, – пошли дальше с бодростью. Русским в этих краях пощады никогда не было. Не было пощады и татарам от русских. Одни только женщины, дети и скот имели право на жизнь (собак и тех убивали)...

Небо вдруг затянуло тучами, просочились на землю дожди. Потом закружил снег. И снег растаял. Растаял снег, и ударил мороз. Стой! Ноги лошадей разъезжались на гололеди, копыту

конскому было до травы не пробиться. Тысячи лошадей сразу пали в степи. А затем стали умирать и люди. Не от ран – от болезней и холода. Армия Леонтьева превратилась в походный лазарет: половина ее несла на себе другую половину армии. Но еще *шли*! Прав был фельдмаршал Миних: нельзя поздней порой выступать через степи ногайские на Перекоп крымский...

Далеко-далеко в степи обозначилась точка в конце горизонта. Что это такое? Лишь к вечеру сблизилась. Это ехал из Крыма прасол – торговец скотом (из запорожцев). Его взяли за шкуру тулупа, втащили в шатер к Леонтьеву.

- Есть ли впереди лес? – спросил его генерал.
- И кошки высечь нечем, – поклонился ему прасол.
- Есть ли впереди вода? – спросил генерал.
- Ни капли, – отвечал прасол.
- Сколько отсюда до Перекопи? – спросил генерал.
- Ден десять, а то и боле того, – отвечал прасол...

Близ Каменного Затона держали военный совет. В шатер бился ветер, снегу намело на целый фут. Черными комками лежали на снегу солдаты. Выстелив шеи и ноги выпрямив, умирали лошади. Встав злыми мордами против метели, покорно и неприступно высились над степью воинские верблюды... Из шатра прокричал Леонтьев:

- Играй поход: идем обратно – на зимние квартиры!

9000 человек навсегда остались в степи, так и не увидев Крыма, где их так страстно ждали толпы невольников. Никакой Гегельсберг не мог сравниться с этим бессмысленным походом... Леонтьева отдали под суд. Но он был племянником царицы Натальи Кириловны (матери Петра I), а таких людей судить неудобно. Всю вину за неудачи свалили на покойника фон Вейсбаха: мертвый, он уже не мог оправдаться...

С большим запозданием прибыл в Петербург курьер от Миниха. Увы, Азова фельдмаршал не взял. Остерман с этим письмом (почти ликующий) предстал перед императрицей:

- Ну вот, матушка, как по писаному: в Крыму нам не бывать, а хваленый Миних болтуном оказался... Что мы скажем Европе?

Анна Иоанновна долго молчала.

- Объяви во всех Европах, что мы войны и не начинали. Была лишь экспедиция воинская, дабы наказать ногаев, кои наши украинские рубежи набегами беспокоили...

Европа почтительно выслушала эту басню – и не поверила. Так начиналась эта война, очень нужная для России. Быть нам в Крыму или не бывать?.. По деревням и городам срочно вербовали рекрут. Самых здоровых. Чтобы в пальцах подковы гнули. Чтобы в зубах у них изъяну не было. Чтобы честны они были – беспорочны. А летами – от пятнадцати до тридцати... Такие вот годы!

Глава двенадцатая

Барон Иоганн Альбрехт Корф, обозленный на весь двор вольнодумец, ныне пребывал на посту «главного командира» императорской Академии наук. Близ его кабинета – спальня, за спальней – лаборатория, где пахнет всякой чертовщиной от порошков загадочных и смесей алхимических. В раскаленных колбах он жаждет золото открыть или... А вдруг, вне чрева материнского, возникнет за стеклом реторты гомункул человека? Барон кафтан скинул, рукава сорочки повыше закатал, в руках его, больших и волосатых, ощущалась сила (но ленивая сила). Он ругался, выискивая мудрость в книгах древних – из «Драгоценной жемчужины» Лациния Калабрского, из «Последнего завещания» Луллия, из потаенных рукописей чернокнижников... Впрочем, Корф был настолько богат, что в получении золота через огонь и не нуждался. Детей он не любил, и, появившись гомункул из колбы, барон вышвырнул бы его на помойку. Просто он был любопытен...

Ему помешал лакей, появившись на пороге:

– Педрилло прибыл... Вот карточка его, барон, в которой он представлен так: «Слабый умный любитель гданской водки, друг Тосканского герцога, Тотчаский комендант Гохланда, экспектант зодиального Козерога, русский первый дурак, скрипач известный и славный трус ордена святого Бенедикта»... Что делать с ним? Прикажете впустить? Иль гнать в три шеи?

– Изю всего, что мы прочли, – ответил Корф, – мне важно лишь одно: «скрипач известный». Шута Педрилло знать я не желаю, а вот синьора Пиетро Мира допустить... Синьор, – сказал барон входящему шуту, – как хорошо, что вы со скрипкой. Рассейте меня музыкой. Но без гримас, пожалуйста, и без кривлянья. Здесь вам не двор, а я не дурак придворный...

Педрилло, сморщенный и старый, играл ему на скрипке.

– А вы прекрасный музыкант. К чему вам это шутовство?

– Ах, сударь мой, – ответил шут. – Одною композицией ведь не будешь сыт. А у меня семья в Венеции осталась. И старость, если не близка, то близится... Пора подумать и о детях. Что я оставлю им? Вот эту только скрипку? – усмехнулся он.

– А кстати, дайте-ка мне ее сюда. Какая ей цена?

– Четыре луидора, барон почтенный.

– Когда и где платили? Она звучит чудесно...

– Есть мастер удивительный в Кремоне. Когда я покидал отечество, ему было лет уже за девяносто. Но он трудился по-прежнему. И никогда не брал за скрипку или виолы дороже четырех луидоров.

Вспыхнув лаком, скрипка шута взлетела к жирному плечу Корфа. Смычок в руке барона вдруг с нежностью коснулся струн.

– Ого, черт побери... Я в этом деле смыслю кое-что. А ваш старик из Кремоны – отличный мастер. Кладу вам сорок!

– Чего кладете? – удивился Педрилло.

– Конечно, луидоров... Вы не забыли – как имя мастера?

– Страдиварий.

– А-а, знаю, знаю. Он ученик великого Амати... Хотите, я покажу вам свое собрание? – Корф провел шута в отдельные покои, где в пламени свечей темнели лебединные виолы, где скрипки тихо тосковали о смычках; Корф хвастал: – Вот скрипка из Бресция, а эту, сделанную Гранчиано, пора ремонтировать... Вот Теклер, вот Серафино! Есть даже тирольские, хотя я их не люблю. Сам я играю очень редко. Я больше пью вино, когда мне тошно от людского свинства. Итак, уступите мне вашего Страдивария за сорок...

После шута явился к Корфу поэт Василий Тредиаковский, принес он «командиру» свою новую книгу: «Новый способ русского стихосложения», и барон рукопись от поэта любезно принял.

– Благодарю за внимание к убожеству моему, – поклонился ему Тредиаковский. – Если б не вы, барон, меня бы давно забодали быки здоровые... Патрон мой, князь Куракин, хотя и кормит-поит, но в награду требует, чтоб я пасквили стихотворные на Артемья Волынского слагал. И отказаться я не смею, а... страшно мне! Когда дверей сходятся две половинки, то палец между ними лучше не совать. А меня, пиита бедного, вельможи меж дверей своих и головой совать готовы без жалости... Что им мой писк!

– Я вас не дам в обиду, – утешал его Корф. – Что этот князь Куракин? Я его чаще вижу под столом, где его, пьяного, ногами попирают. А – вы? Кто вы?.. Вы – Прометей, и ваше имя принадлежит истории. Поэта будет помнить вся Россия. А остальные люди, кто не способен к творчеству, все это *гниль*... Увы, – вздохнул вдруг Корф, – вот и архивный червь, глотая смрад бумаг старинных, может, прогрызет и мое жалкое имя...

Он вызвал академического типографа Кетрица. Вошел тот – важный гусь, весь в бархате, весь в кружевах. Барон Корф свернул рукопись Тредиаковского в трубку потуже и сразу треснул «гуся» по башке, чтоб спеси поубавить:

– Болван! Печатай это поскорее. Пусть шлепают твои машины неустанно. И помни, что поэты ждать не любят...

...

Барон Корф в пику всем оборонял и поддерживал русского поэта (человека робкого, но талантливого). Барона занимало положение поэта при дворе. Тредиаковского держали в черном теле. Анна Иоанновна – по глупости своей – видела в Тредиаковском лишь развлекателя (вроде шута). Поэты, живописцы, музыканты – они, да, состоят при дворе, ибо более им кормиться негде. Но Тредиаковский – не развлекатель, это ученый-языковед. И барон помышлял дерзостно: Тредиаковского полностью за Академией укрепить... При чем здесь двор? При чем здесь пьяный меценат Куракин? Поэты – суть служители государственные.

Корф был ворчун, всем недовольный. Анне Иоанновне он свое неудовольствие показывал. Бирену в лицо дерзил. Иногда он выражался при дворе так, что, будь он русским, его бы уж давно вороны по кускам растащили. Но у него – заслуги перед престолом, за ним – надменное рыцарство Курляндии, и трогать его опасно. Оттого-то Корф – безбожник, книголюб, алхимик – мог делать все, что в голову взбредет, и не любил советников иметь.

Сейчас он нежно влюбился во фрейлину Вильдеман, которая приходилась племянницей фельдмаршалу Миниху. Но дорогу Корфу переступал камергер Менгден, вице-президент Коммерц-коллегии. Корф предложил ему бороться за руку и сердце Вильдеман:

– Назовите мне ваше любимое оружие.

– Яд! – засмеялся Менгден вызывающе.

– Что ж, – согласился Корф, – дуэлироваться можно и этим оружием подлости... Давайте так: вы мне дадите яд, а я вам свой подсыплю. Кто из нас быстрее приготовит противоядие, тот выживет и станет обладателем руки и сердца юной Вильдеман...

– Я пошутил, – отрекся Менгден. – Нет, мне с вами в химии не соперничать. Уж лучше шпага! И чтобы... поменьше свидетелей.

– Согласен и на то. Драться уедем на родину, в Курляндию.

Любовная тоска перебивалась размышлениями о запущенности дел академических. В этом году Корф образовал «Русское собрание» при Академии, где русские занимались толкованием русского языка, – это хорошо: пусть возникнет «Толковый словарь» языка русского. Корф видел явное: ученые – все иноземцы, и коли кто понадобится, то зовут опять из Европы.

Но... до каких же пор? Бернулли взялся обучать Ададурова, и опыт сей показателен: Ададуров стал великолепным математиком... Россия сама должна поставлять ученых, подобно рекрутам; таковые сыщутся, только искать их никто еще не пробовал. Как раз в это время опустела академическая гимназия, и Шумахер вошел с докладом к барону.

– Вот и хорошо, – решил Корф. – Наберем школяров из русских, дабы в России имелись свои ученые.

– Их нету, русских ученых, – ответил Шумахер.

– Нету потому, что не озаботились их создавать. Из юношей ума здорового, способных и к трезвости склонных, выйдут незаурядные славянские Ньютоны.

Шумахер рассмеялся – так, словно доску сырую распилил.

– Русские, – сказал он, – к тому неспособны, барон.

– Можно подумать, вы это проверяли уже на русских?

– Все они – воры и пьяницы! – бодро откликнулся Шумахер.

Корф отцепил от обшлагов кафтана пышные кружевные манжеты, небрежно бросил их на стол, словно перед дракой.

– Послушайте вы... невежа! – сказал барон с презрением. – Я ведь не посмотрю, что ваш тесть Фельтен супы ея величеству варит. Для меня кухонное родство с русской императрицей не имеет никакого значения. И я достаточно силен физически, чтобы одной рукой вышвырнуть вас из Академии – прямо в Неву – вместе с вашими дурацкими убеждениями...

Шумахер тут склонился перед ним и показал при этом барону Корфу свои оттопыренные уши с их тыльной стороны, где они были розового цвета, как у поросенка.

При дворе продолжали спорить: «А все-таки любопытно знать: кто же умнее всех на Митаве – Корф или Кейзерлинг?»

– Напрасен этот спор, – вмешивался Корф. – Вы, живущие хитростью, спорите не об уме. Вы спорите о том, кто из нас хитрее. Так я вам скажу, что хитрее всех наш лошадиник Волынский. Граф Бирен прав: когда имеешь дело с этим человеком, держи при себе камень, чтобы ударить Волынского в зубы прежде, чем он вцепится тебе в глотку...

...

Обер-егермейстеру до всего было дело – совал свой нос Артемий Волынский даже в дела коннозаводства, хлеб у своего врага, князя Куракина, отбивая. Со стола своего Волынский не убирал книг по гиппологии научной: «Королевский манеж» Антуана Плювиля, «Гиппика або наука о конях» поляка Дорогостайского и «Книга лекарственная о конских болезнях» Петра Шафирова... Лошадей он любил, и когда жил в Персии, то много полезного о лошадях на Востоке узнал и домой хозяйственно вывез... Впрочем, любимым делом долго не пришлось заниматься Волынскому, оторвали его от лошадей – велели судить Жолобова, из Сибири привезенного.

– Вот этого мне еще не хватало! – огорчился Волынский. – Но против рожна царского не попрешь, коли карьер надо делать...

Поначалу допросы шли в подвалах Летнего дворца. Плыл по Неве лед осенний, река долго не вставала, и никак было крамольников в канцелярию Тайную (в крепость, за Неву) не переправить. Целых два месяца дали Жолобову и Столетову на поправку здоровья, кормили их на убой с царской кухни. Даже лекарями обихаживали. Это признак нехороший: значит, к мучениям адским готовят.

Волынский знал Жолобова раньше и – уважал его.

– За что тебя тиранят, Петрович? – спросил он Жолобова.

– За тридцатый год, за кондиции, я тогда орал много.

– А тут иное писано: будто воровал от казны!

– Все мы воры, – отвечал Жолобов. – А таких, как ты, еще поискать на Руси надобно. От твоих грабительств на Казани людишки по сю пору плачутся...

Такая честность не по нутру пришлась Волынскому.

– Эй-эй! – нахмурился он. – Вроде бы не меня, а тебя судят. Где бы милости моей тебе поискать, а ты судью своего же вором кличешь... Да знаешь ли ты, что я тебя под топор засуну?

– Нашел чем удивить человека русского! И это про тебя-то, дурака, говорят, что ты умный?..

Понял тут Волынский, что Жолобов на жизни своей давно крест поставил – ему теперь ничего не страшно. А по вечерам, после допросов и очных ставок, утомленный, Волынский говорил Кубанцу:

– Ежели когда-либо, не дай-то бог, меня судить станут, об одном буду молиться: иметь дух столь высок, какой Жолобов ныне перед смертью имеет... На плаху его пошлю, а уважать буду!

– Хотите, я развеселю вас анекдотом галантным? – отвечал ему дворецкий Кубанец. – Наталья Лопухина дочку породила вчера.

– Во, кошка немецкая! А ведь от света не уйдешь. Теперь мне Наташку поздравлять надо ехать... Ладно, не ломаюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.